

ЧАСТЬ III

ГЛАВА 1

ПРИЕЗД В ИМЕНИЕ АЛИ. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ВСТРЕЧИ

Долго, очень долго странствовали мы с Иллофиллионом, прежде чем добрались до Индии. Иллофиллион часто делал длительные остановки, желая не только дать мне отдых, но и предоставить все возможности понаблюдать жизнь разных народов, посмотреть их нравы и обычаи.

Посещая разные страны, он отчасти руководствовался своими делами, но чаще всего стремился расширить «мои университеты». Так, когда мы посетили Багдад, Иллофиллион, смеясь, уверял меня, что мне необходимо понять прелесть реального Багдада, а не судить о нём только по сказкам и вкусным пирожным.

Наше путешествие, длившееся несколько месяцев, благодаря ежедневному влиянию и заботам Иллофиллиона не только укрепило моё здоровье, но и изменило мой характер. Я почти перестал быть «Лёвушкой — лови ворон», внимание моё стало дисциплинированным, и — сам не знаю, как это произошло, — я перестал впадать в раздражение.

Рассказать обо всех чудесах, которые довелось мне видеть, так же невозможно, как в одной статуе отразить жизнь целой эпохи какого-либо народа. Могу сказать только, что, как ни готовил меня Иллофиллион к тому, что я увижу в Индии, она меня поразила сильнее всех чудес, которые пришлось увидеть за всё наше долгое путешествие. Я знал, что мы едем к подножию Гималаев; знал, что имение Али расположено в прекрасной и живописной долине, — но я и вообразить не мог, в какую волшебную красоту мы попадём.

Суя по тем домикам друзей Иллофиллиона, в которых мы останавливались, я ожидал и в имении Али увидеть такой же маленький чистенький коттедж, снабжённый единственным очагом и необходимой для жизни ут-

варью. Но, как и во многом другом, я ошибся. Дом в имении Али оказался прекрасным, выстроенным из белого, похожего на мрамор камня, с многочисленными колоннами, с изолированными комнатами.

Нас с Иллофиллионом ждали на верхнем этаже две чудесные комнаты с балконами. И когда я вышел на свой балкон, открывшийся с него вид так меня поразил, что я всё забыл и, превратившись в прежнего Лёвушку, «ловиворонил» до тех пор, пока солнце не закатилось за горы. А я всё стоял, забыв обо всём.

Меня привела в себя мягко опустившаяся мне на плечо рука Иллофиллиона. Ах, как он был прекрасен! Я ещё никогда не видел его столь красивым, каким он стоял сейчас передо мной. Он был в хитоне оранжевого цвета; волосы его слегка отросли и ниспадали короткими локонами, а топазовые глаза могли поспорить с глазами-звёздами Ананды.

Я хотел воскликнуть: «Как вы прекрасны, Иллофиллион!» — но не мог выговорить ни слова. В первый раз я почувствовал, насколько возвышен духовно мой дорогой друг, насколько его душа выше всего обычного, человеческого. Чувство благоговения, благодарности за всё, что он для меня сделал, и преданности ему захватили меня. Я молча смотрел на него. Он понял мои чувства и, ласково улыбаясь, сказал мне:

— Я не тревожил тебя, Лёвушка, потому что знал, как действует на человека этот дом и этот вид из него, когда его видят впервые. Но сейчас наступит вечер, который здесь настаёт очень быстро. Мы должны вовремя успеть к ужину. Пойдём, я покажу тебе, где ванна и душ, познакомлю тебя с управляющим домом и со слугой, который будет у нас с тобой общим. Ты можешь надеть индусскую одежду, которую здесь носят все, или остаться одетым по-европейски, если тебе так больше нравится. Но являться к трапезам без опозданий — это единственное правило, соблюдаемое всеми с большой точностью. Не беспокойся, ты успеешь, — улыбнулся Иллофиллион, прочтя на моём лице опасение опоздать.

Мы прошли к управляющему домом, одетому также в белую индусскую одежду и, судя по его лицу, бывшему типичным местным жителем. Он был красив, ещё молод, тонок и гибок. У него было продолговатое лицо, тёмное от загара, тёмная бородка-эспаньолка, тёмные глаза и белый тюрбан на голове. На моё приветствие он ответил по-английски, но с сильным акцентом и певуче. Голос его был мелодичен и мягок; взгляд добрый, но пристальный и внимательный, как будто он старался меня запомнить, что-то во мне изучить и понять. Но мне некогда было об этом раздумывать, я запомнил только, что звали его Кастанда. Меня очень удивило это имя, но тут же я вспомнил о ванной и помчался туда с одной мыслью: скорее вернуться к Иллофиллиону.

Меня ждали сюрприз за сюрпризом. Я думал увидеть какую-нибудь самодельную душевую, вроде тех, что встречались нам по пути. Чаще всего это было просто огороженное в саду место с душем из нагретой солнцем воды. А попал в отличную ванную комнату с полом и стенами из плитки, с неограниченным количеством горячей и холодной воды, подаваемой из водопроводных кранов. К довершению моего удивления, не успел я начать мыться, как в ванную комнату вошёл слуга-китаец. Добродушно улыбаясь, он заявил, что прислан Кастандой помочь мне. Не дав мне опомниться, он окатил меня из какого-то кувшина чем-то тёплым, оказавшимся жидким душистым мылом. В мгновение ока он растёр меня всего мягкой мочалкой и подвёл под душ, так что мне оставалось только наслаждаться.

— Садитесь теперь в ванну, мсье Леон, — услышал я сказанное им по-французски. Я готов был ко всему. Но услышав от китайца, который только что объяснялся со мной на плохом английском, французскую речь, я не выдержал и расхохотался во весь голос.

Бросившись в прекрасную каменную ванну, из такого же белого камня, как и весь дом, я продолжал смеяться.

— Вот и Али-молодой говорила, что мсье Леон очень весёлая особа, — снова услышал я голос слуги.

— Разве вы знаете Али-молодого? — удивился я.

— Как же не знать? Я вырастил Али-молодого. Он и послал меня сюда для вас и брата Иллофиллиона. И сам он приедет сюда. Тогда у меня будет три господина, — преуморительно коверкая слова, отвечал слуга.

Выскочить из ванны, вытереться и одеться в костюм, уже приготовленный мне, было делом одной минуты. Сердечно поблагодарив китайца за помощь, я спросил, как его имя. Он немного замаялся и ответил:

— Как имя — это другое дело. Вы зовите меня Ясса — так зовёт меня Али-молодой и зовут все здесь.

— Я буду звать вас Ясса, но с тем условием, чтобы и вы звали меня просто Лёвушка, как меня зовёт Али-молодой и как будут звать все здесь.

Китаец рассмеялся и сказал:

— Будет так, если Иллофиллион велит.

— Велит, велит, можете быть уверены.

Я бросился было бежать к Иллофиллиону, но сначала понёсся в совершенно противоположную сторону и только с помощью всё того же Яссы нашёл Иллофиллиона в его комнате, где он беседовал с Кастандой.

— Я не опоздал, Иллофиллион? — весело воскликнул я, вбегая в комнату.

— Ещё только через четверть часа будет гонг к ужину, — ответил мне Кастанда. — Не удивляйтесь, пожалуйста, если ваш и Иллофиллиона при-

боры будут украшены цветами. Али Мохаммед, наш дорогой хозяин, предупредил нас о приезде его друзей. И каждый из живущих здесь сейчас пожелал выразить чем-нибудь свой привет вновь прибывшим гостям. Сам же Али-старший приветствует вас подарками, которые вы также найдёте на своих приборах.

Кастанда нас покинул, и Иллофиллион сказал мне:

— В столовой, как и здесь, царит простота, Лёвушка. Но это не значит, что человек лишён комфорта. Сейчас у тебя ослеплены глаза. Ты рассеян и не знаешь, куда и на что смотреть. Завтра ты лучше рассмотришь всё, что тебя окружает. Мы пойдём сейчас ужинать, не смущайся большим количеством незнакомых тебе людей. Ты встретишь и немало женщин.

У меня сжалось сердце. Точно живая, пронеслась перед моими глазами Анна. О, как остро я почувствовал её горе в эту минуту! Она могла быть здесь с нами. Ананда сам мог привезти её сюда, и вот одно мгновение сомнений и ревности — и всё пропало.

— Анна не безвозвратно отошла, — тихо и ласково сказал мне Иллофиллион. — Она укрепитя и тоже будет здесь. Бури ревнивых сил не вспыхнут в ней больше. Но здесь она окажется только тогда, когда сюда приедет и дочь Али — Наль, со своим мужем, твоим братом. К этому времени Али сам привезёт сюда Анну. Не печалься о ней. Помогай ей мыслями радостной любви. Посылай ей утром и вечером помощь мыслями бодрости и мужества. Ничем более активным ты в данную минуту ей помочь не можешь. Но ты не думай, что этого мало. Это очень большая помощь. Ежедневная радостная мысль о человеке подобна молниеносной постройке рельсов для моста, на котором можно научиться встречаться мыслями с тем человеком, о котором будешь радостно, чисто и постоянно думать.

Ударил гонг. Иллофиллион, как всегда угадавший моё смущение, взял меня под руку, и мы сошли вниз.

Было уже почти темно, но тем не менее всё ещё очень жарко. Зал, называвшийся столовой, был ярко освещён электричеством, к моему удивлению. Несколько дверей в нём были настежь открыты, окна были завешены мокрой кисеёй, и под потолком вращались десятки огромных вееров, создававших прохладный ветерок. Но всё же было душно.

Я понял, насколько я окреп. Раньше я не смог бы вынести ни минуты такой жары. Перед этой жарой духота Константинополя казалась шуткой. Несколько месяцев тому назад я немедленно упал бы в обморок, а сейчас мне было просто душно. Мой индусский костюм и сандалии на босу ногу очень мне помогли.

Мы вошли одними из первых. Кастанда сейчас же подошёл к нам и проводил к нашим местам. Они оказались за крайним столом, на котором было

много приборов, как и на других столах. Многие из входивших приветствовали Иллофиллиона как старого знакомого. Некоторые кланялись нам обоим издали как вновь прибывшим друзьям. Здесь все, очевидно, были знакомы друг с другом и никто никого не стеснялся.

Когда все заняли места за столами, на каждый стол стали подавать кушанья очень своеобразным порядком. На небольших, очень пропорциональных и красивых столиках, которые катили слуги, стояли тарелки и блюда, и каждый брал себе то, что хотел и сколько хотел. Такие катящиеся столики свободно проходили между обеденными столами. Наш стол был крайним к окнам, и тележка прикатила к нам со стороны окна.

Иллофиллион предложил мне выбрать блюда для себя и для него, а я не мог решить, что и как здесь едят. Заметив на одном из блюд салат из помидоров, на другом картофель, а на третьем — цветную капусту, я принялся накладывать их на тарелку Иллофиллиона, как вдруг увидел ещё на одном блюде чудесную дыню. Вспомнив, что «мудрец без дыни невозможен», я уже хотел положить на тарелку и дыню, но Иллофиллион, смеясь, сказал:

— Тележка-стол, Лёвушка, опять приедет, как только мы с тобой справимся с овощами. Обрати лучше внимание на цветы, которые стоят перед тобой, и ещё на кое-что. Быть может, привет Али тебя тронет.

Я стал рассматривать цветы и увидел, что передо мной в высокой зелёной вазе стояла белая лилия. Очевидно, у Али и здесь были оранжереи. Но я положительно не мог ни на чём сосредоточиться. Сколько передо мной было лиц — мужских, женских, молодых, средних и старых, — и каких лиц! Мне хотелось их хотя бы вскользь рассмотреть, но каждое лицо, на котором останавливался мой взгляд, казалось мне замечательным, и я с трудом отрывал взгляд от него.

— Нет, Лёвушка, и не пытайся сразу разглядеть всё и всех, — услышал я смеющийся голос Иллофиллиона. — Здесь более ста человек, ты с ними познакомишься постепенно. Приступай к ужину, обрати внимание на свой прибор и сосчитай хотя бы тех, кто сидит с нами за одним столом.

Я вздохнул, ещё раз осознав, как далеко мне до Иллофиллиона, который мог видеть одновременно сотню людей и в несколько минут понять сущность каждого из них; мог каждому сказать именно то, что ему нужно, и поддержать в каждом энергию одним словом или взглядом.

Меня уже не поражали эти способности Иллофиллиона. Я их достаточно видел и у Флорентийца, и у Ананды. Что-то удивляло меня в этих людях, наполнявших зал. За последнее время я видел немало больших скоплений людей. Но в этом зале было что-то особенное, чего я ещё нигде не наблюдал. И это «что-то» относилось не к внешнему своеобразию самого зала, а людям, собравшимся в нём. Оно относилось к их внутренней сущности, к не

бросавшейся в глаза, но остро чувствовавшейся в них духовной культуре. Я воспринимал сейчас эту толпу людей совершенно по-другому. Здесь нельзя было себе представить, что вдруг в каком-либо углу зала прозвучит резкий выкрик, саркастический смех, злобная фраза...

Иллофиллион снова отвлек моё внимание и заставил меня есть, говоря, что тележка приедет скоро снова, а я отстаю. Я стал есть, не сознавая, что именно я ем; внезапно мой взгляд упал на салфетку — и я просто обомлел. На моей салфетке было чудесное золотое кольцо с именем Али, выложенным из мелких зелёных камней и белых жемчужин.

— Ведь я говорил тебе, посмотри на свой прибор, — сказал мне Иллофиллион, снова улыбнувшись моей невероятной рассеянности.

Я захотел узнать, какое кольцо у Иллофиллиона... И ещё раз поразился. На его салфетке было кольцо из простого белого дерева, на котором белыми кораллами была выложена надпись: «Али». Дальше шла надпись на неизвестном мне языке.

— Когда я ехал с Флорентийцем из К., — сказал я Иллофиллиону, — я не понимал ни слова из того, о чём он говорил с туземцами. Я был тогда всё время раздражён и расстроен. Тогда же я дал себе слово изучить этот язык, непонимание которого доводило меня до иступления. Я ничего ещё не сделал, чтобы выполнить свой первый обет. Тем не менее я даю второй обет: узнать язык, на котором сделана надпись на вашем кольце, Иллофиллион. Я потерял способность раздражаться, и меня теперь не угнетает моё невежество. Пожалуй, в моём теперешнем самообладании я ещё яснее вижу мою невежественность. Поможете ли вы мне, Иллофиллион, выполнить мои два обета?

— Охотно, друг. Только, пожалуйста, не давай больше скоропалительных обетов, а то, пожалуй, тебе придётся прожить здесь, в Общине Али, многие годы. А я привёз тебя сюда только на короткий срок, чтобы ты мог подготовиться здесь к дальнейшей жизни рядом с Флорентийцем.

— Община Али? — совершенно изумлённый, спросил я.

— Да, но всё это я расскажу тебе потом. Сейчас кушай, смотри, отвечай на вопросы, хотя, думаю, никто ни о чём тебя не спросит.

Так, прислушиваясь к разговорам за нашим столом, я стал внимательно рассматривать своих ближайших соседей. Я прикоснулся к цветам возле моего прибора и вдруг увидел среди них два небольших конверта. На каждом из них стояло моё имя. Я сразу узнал крупный чёткий почерк Али-старшего и не менее чёткий, но гораздо более мелкий и женственный почерк Али-молодого.

Вместе с огромной радостью на меня нахлынула целая туча воспоминаний. Я вновь переживал пир у Али, разлуку с братом, встречу с Флорен-

тийцем и отдельные эпизоды путешествия с ним. Любовь к брату была всё такой же сильной в моём сердце, но сейчас в моей памяти преобладающей нотой звучала не скорбь о разлуке с ним, а радость за него, радость, что он счастлив, в безопасности и живёт подле Флорентийца. Я думал об Али-старшем с огромной благодарностью не только за то, что сейчас сидел под его кровом, но и за то, как много он сделал для брата, как, в сущности, оба мы были обязаны ему всем.

И вдруг я снова ощутил знакомое мне содрогание во всём организме. Мне показалось, что я вижу Али стоящим у круглого окна вдали. Вижу его прожигающие очи и слышу его сильный голос и чёткую речь:

— Учись, Лёвушка. Первой задачей стоит перед тобой полное самообладание, второй — бесстрашие, и третьей — такт. Приобретая эти качества, можешь снова выйти в мир для труда и служения людям. Иллофилион поможет тебе, и я приму тебя в круг моих сотрудников.

Али исчез; мне показалось, что в комнате стало значительно темнее. Я опомнился потому, что Иллофилион заботливо помогал мне встать со стула. Я давно не впадал в болезненное состояние иллюзорных видений, считал себя совсем выздоровевшим от них и сейчас совершенно расстроился, поняв, что я ещё недостаточно окреп.

Все вставали со своих мест, очевидно, ужин был окончен. Повинуясь руке Иллофилиона, я также встал с места и увидел перед собой Кастанду.

— Вы, вероятно, очень устали от дороги и жары, Лёвушка, я пришлю вам ваши цветы на балкон. А письма вы, конечно, захотите взять с собой сейчас же, — подавая мне письма, сказал Кастанда.

Я поблагодарил, взял оба письма, хотел взять и кольцо, но Иллофилион сказал, что кольцо мы рассмотрим завтра при дневном свете. Он познакомил меня с некоторыми из подходивших к нему друзей. Но я был как в тумане и едва различал лица, за минуту казавшиеся мне такими значительными. Мы вышли в сад. Я в первый раз мог наблюдать яркое небо на громадном просторе, но сил у меня было так мало, что я попросил Иллофилиона сесть на первую попавшуюся нам скамью. Я приник к Иллофилиону. От него бежала ко мне живительная энергия. Я постепенно успокоился и почувствовал, что сердце моё бьётся ровно. Я сказал, что хочу пойти к себе и прочесть письма обоим Али.

— Скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь, Лёвушка, ты научишься владеть собою и будешь слышать речь своих друзей на огромном расстоянии без всякого напряжения, — ласково говорил Иллофилион, провожая меня домой.

Из всего окружающего меня сейчас я мог только в одном дать себе отчёт: тишина ночи отвечала тишине во мне. По дорожкам сада двигались

тёмные тени группами, парами, в одиночку. И снова, сталкиваясь с людьми, шедшими нам навстречу, я чувствовал — как и в обеденном зале, — что от них исходит искреннее доброжелательство. В чём оно выражалось и как я мог его ощущать, я не знал. Но был определённо уверен, что здесь никто меня не осуждает, не разбирает по статьям, а очень просто и любовно принимает в своё общество.

Иллофиллион вёл меня какими-то дальними путями, я понял, что он хотел мне дать возможность полностью прийти в себя. Мне стало вдруг даже смешно: неужели Иллофиллион думает, что я прежний Лёвушка, что в какой-либо шели моего существа могло засесть раздражение?

— Мой дорогой Иллофиллион, я уже давно способен читать мои письма; голова моя в полном порядке. Неужели вы можете предполагать, что я сегодня был раздражён? Я уже забыл, как это делается, — весело заглянул я в лицо Иллофиллиону при ярко горевших звёздах.

— Я знаю, что для тебя стало невозможным раздражаться, Лёвушка, и если я так долго вожу тебя по саду, то только для того, чтобы в первую же ночь, как ты войдёшь в здешний дом Али, ты был в полном равновесии сил и чувств. Мы в Общине Али. Каждый из нас, придя сюда, уже прошёл крестный путь жизни. Но не каждый прошедший его мог дойти до этого дома. Здесь ты увидишь только тех, кто просветлён в своём страдании, кто понял, принял и благословил свои жизненные обстоятельства, кто захотел жить, служа человечеству, думая об общем благе. Входя сегодня в этот дом, подумай, мой дорогой мальчик, обо всех, кого ты оставил в Константинополе. Обо всех, кто сейчас вместе с Анандой и Флорентийцем, а также вспомни сэра Уоми и всех, кто с нами был рядом и ушёл утешённым и обрадованным. Оба Али будут говорить с тобою в письмах; благослови день встречи с ними. Сбрось всю тяжесть прежней скорби и недоразумений с себя. Войди под новый кров Али свободным, лёгким и радостным. Не думай, что сулит тебе *завтра*. Но заверши своё *сегодня* такой полнотой чувств, чтобы весь твой организм смог воспринять слова, которые посылает тебе в письме Али-старший.

Мы вошли в дом, поднялись к себе, и я простился с Иллофиллионом, чтобы наедине прочесть письмо Али, чудесное лицо которого я так недавно видел глядящим на меня из эфира в круглом окне.

«Друг, брат и милый сын!

Нет расстояния и условного разъединения для тех, чьё сердце горит неугасимой любовью. Нет смерти для тех, чьё сознание раскрыло человеку его живую Вечность, которую он в себе носит.

Сегодня ты вступишь в мой дом на Востоке. Вступи в него не гостем, не другом, но равноправным членом моей семьи. Все, кого ты там встре-

тишь, — все твои братья и сёстры, идущие путём труда и совершенствования.

Тебе дано больше, чем многим из них. Ты обладаешь силой видеть и слышать в любую минуту и меня, и Флорентийца, и Ананду, и сэра Уоми. Иллофиллион поведёт тебя к высшей ступени знания, помогая развитию твоих психических сил. Ты будешь владеть духовными силами в себе самом и вовне.

Что нужно от тебя, чтобы этот процесс шёл успешно и раскрыл в тебе все силы творческого духа?

Нужна твоя верность. Что такое верность ученика своему Учителю? Это единение вечное с его трудом и путями. Если ты сможешь проявить героическое напряжение своих сил и мыслей, ты сольёшься со светлым пламенем творчества твоих Учителей. И Вечность раскроет в тебе все твои таланты. Но верность твоя — единственный ключ ко всему знанию.

Живи легко, бесстрашно и свободно. Кто не сумеет так проходить свой день, для тех истинное знание окажется закрытым, хотя бы они даже переступили порог Общины. Можно жить среди совершенных людей — и всё же видеть только их внешние манеры. Можно жить среди таких же, как ты сам, несовершенных, но стремящихся к совершенству людей, и видеть в них каплю великого огня Вечности. И тогда ты будешь стремиться не омрачить ничем этой капли огня в другом человеке, а принести ей помощь, чтобы она могла легче и проще, выше и веселее превращаться из капли в светлый костёр. Повторяю, ключ к такому пути ни Община, ни люди, ни природа с её красотой никому не предоставят. Ключ — в тебе самом, в твоей верности.

Нет никаких «особых» знаний, которые раскрываются человеку с помощью упорства воли, в каких-то избранных местах, по особым ритуалам. Такими делами занимаются только тёмные оккультисты. Знания их, приобретённые этим путём, ничтожны, в чём ты уже имел возможность убедиться. Но соблазн, который они вносят в мир, и язвы, которые они оставляют в сердцах, страшны и разрушительны среди людей невежественных. Действуя на эгоистические страсти, тёмные оккультисты вербуют себе войско, разрушая в людях стремление к добру своим тяжёлым гипнозом.

Та Община, где ты сейчас живёшь, — это спасительная сеть, где воспитываются бойцы для борьбы со злом, с тёмными силами, с разжигающими страстями. Здесь закаляются сердца тех, кто хочет жить для общего блага, ради мира и радости людей.

Знание — двигатель жизни, и радость — масло для него. С той минуты, как ты вошёл под кров моей Общины, осознай новый порядок вещей и пойми в нём новый подарок, который тебе дала Великая Жизнь.

Перед тобой период в целых семь лет абсолютной раскрепощенности от всех забот практической жизни. В полной освобождённости от бытовых тягот осознай свою величайшую внутреннюю свободу. Осознай, что твоё Я, освобождённое от страстей, может сдвигать горы, если верность твоя непоколебима до конца и никакие сомнения и страхи не могут пробить в ней бреши.

Прими, друг, бодрое пожатие моей руки и иди по жизни в простой доброты. Как только доброта твоя станет ежедневным, привычным двигателем твоей жизни — ты каждую встречу сумеешь начать и закончить в радости и мире.

Верь мне — всё, чего должен достичь человек при встречах, — это начать и закончить *каждую* из них в мире, милосердии и доброте.

Время — те семь лет, о которых я упомянул и которые кажутся тебе сейчас целой вечностью, — промелькнёт, как одно мгновение. И, покидая гостеприимный кров Общины, ты будешь сам себя уверять, что ещё не чувствуешь себя в силах идти в самостоятельную жизнь, чтобы строить людям пути к общему благу и миру.

Но... для каждого приходит *его* собственный момент готовности, *его* момент творчества, *его* момент развития и действия героических сил.

Кто слишком спешит — не достигает. Кто отстаёт и медлит — находит смерть. Мужайся, друг. Ты хорошо начал свой путь — продолжай его так же. Если в минуту разлада ты будешь нуждаться в моей помощи, сосредоточенно и уверенно думай обо мне, произноси имя моё, и я отвечу тебе немедленно.

Прими мой привет и пожелание мира,

твой друг Али Мохаммед».

Я потушил лампу, взял в руки письмо и вышел на балкон. Ночь, тихая, тёмная, с небом, усеянным звёздами, окружала меня. Огромные пальмы едва вырисовывались в темноте волшебными контурами. Неведомые мне звуки этой ночи, какие-то шорохи, точно вздохи, очень отдалённый звук свирели, аромат роз и гвоздик... Всё слилось в какое-то кольцо ещё неведомых мне чувств спокойствия и блаженства. Гармония, царившая в этой ночи, захватила меня. Я перестал чувствовать себя отдельным существом и ощущал всеобщую радость бытия, счастье жить в этом очаровании Вселенной, живой частью которой я себя сознавал.

Прижав письмо к губам, я благодарил Али за все его благодеяния мне и моему брату. Я прочёл письмо ещё раз, не глазами и умом, но сердцем. Любовь моя к Али полилась горячей волной, раскрывая мне великую мощь его духа. Я увидел ещё один аспект, аспект любви, в образе моего великого друга. И я захотел приблизиться к знанию, чтобы приблизиться к нему.

Я так долго простоял на балконе, что звёзды стали меркнуть, восток зарозовел. Я вспомнил о письме Али-молодого и поспешил в комнату. Волшебная картина пробуждающейся жизни заставила меня отдёрнуть занавеси. Я распахнул одно за другим все окна настежь и стал наблюдать, как из-за горного хребта выплывала красная полоса, становясь всё шире и ярче. Внезапно выскочил краешек солнца, и я едва удержал крик восторга. Весь горный хребет с белыми вершинами, залитый розовым светом, открывался на дальнем горизонте. И до самого хребта тянулась широчайшая долина с живописными селениями, переплетающимися садами, полянами и лесами. Я только тогда отошёл от окна, когда увидел садовников, выходявших из дальних построек Общины.

Одновременно начиналась жизнь во многих местах всего дома. Я видел одетых в белое людей, идущих с мохнатыми полотенцами на плечах купаться к горной речке.

Сев в кресло, я стал читать второе письмо.

«Мой дорогой Лёвушка, мой милый брат», — писал своим мелким и необычайно красивым почерком молодой Али. Глядя на этот характерный почерк, я особенно ярко представил себе Али. Я вспомнил его в первые минуты встречи, когда он, не видя нас с братом, высаживал из коляски ворчливую тётку и украдкой улыбался Наль. Я вспомнил его и в ту минуту, когда Наль подала цветок брату Николаю... Я словно вновь увидел его в индусской одежде на даче у дяди Али. Как должен был тогда страдать этот утончённый юноша, буквы почерка которого ложились ровной лентой, как гармонично сплетённое кружево. Какая стойкость воли и любви должна была жить в этом гармоничном существе, чтобы после смертельного удара вновь жить полной жизнью, улыбаться и радоваться. Сейчас для меня было ясно, что именно в тот момент, когда Наль подала цветок не ему, а брату Николаю, Али-молодой умер. Умер беззаботный, влюблённый Али; умер жених, мечтавший о любви и создании семьи, и остался жить новый человек, воин, строитель жизни, уже навек забывший о себе возле Али-старшего.

Я не спрашивал себя сейчас: «Зачем столько страданий в мире?» Я знал теперь, зачем они; знал, что через них люди приходят к Знанию и на препятствиях растут и закаляются. Я снова стал читать письмо.

«Передо мной мелькают картины твоей тревожной жизни последних месяцев. Не раз сжималось моё сердце за все твои муки, и я хотел бы поменяться с тобой ролями и взять на себя твой подвиг, предоставив тебе спокойную жизнь возле дяди Али. Но... путь жизни ни себе, ни другому не выберешь. Этот путь стелется там и так, как судьба его создаёт.

В письме не передашь всего, что хотелось бы излить из сердца. Да и слова наши малы для того огромного, чем я хотел бы поделиться с тобой. Одно мне необходимо тебе сказать: не печалься ни обо мне, ни о твоём брате.

Видишь ли, цель жизни на земле — духовное освобождение посредством труда. Но мы так созданы, что, приходя на землю, приносим и растим в себе огромное количество страстей и предрассудков, которые опутывают нас, как цепкие лианы. И чем прекраснее цветы наших иллюзорных лиан, тем яростнее мы к ним привязываемся и за ними гоняемся. Когда же настает момент нашего внутреннего созревания, нам приходится разрывать цепи своих иллюзий. И если эти цепи глубоко вросли в наше сердце, то в тот момент, когда мы разрываем их, нечто прежнее в нас умирает. Умирает иногда целыми частями своего существа, чтобы на месте связывавших нас страстей вырастала радость освобождения.

Не могу тебе сказать, что я завоевывал свои ступени роста и освобождения легко и просто. Я уже много раз умирал под вцепившимися в меня лианами страстей и много раз снова оживал, всегда благословляя Жизнь за посланный ею урок освобождения.

Я вижу, как свалились на тебя сразу целые десятки уроков. Я вижу, как стоически ты их выдержишь, мой дорогой друг Лёвушка. Тебе кажется, что страданий вокруг слишком много, что Милосердие Жизни могло бы больше позаботиться о радости людей. Нет, Лёвушка, не Жизнь раздаёт награды и удачи или беды и наказания. Каждый человек подбирает в своих днях то, что он сам своими делами в веках разбросал вокруг себя.

Выбросить, как ковшом вычерпать, мутную воду, которую сам пролил в жизнь, — невозможно, её надо пропустить через собственное сознание и труд. И только тогда вода, прошедшая через фильтр собственной доброты, всосётся в землю, оставив на поверхности её, окружающей человека, кристаллы чистой Любви. Эти сверкающие кристаллы уже не могут ни замутиться, ни разрушиться. Это искры твоей вечной Любви, которые живут в тебе и в каждом. Они легки, чисты и сыплются с нас, как алмазный дождь, когда мы трудимся на земле в своём простом дне, думая не о себе, а о встречаемых.

Чем больше любви в сердце, освобождённой и очищенной, тем чище и шире вокруг нас блестящий ковёр, на котором встречает своих ближних каждый человек. Когда ещё толькоходишь к человеку, уже издали ощущаешь аромат духовной атмосферы его ковра. И тот человек, чья атмосфера очаровывает нежностью и чистотой аромата, всегда много-много раз уже умирал своими страстями, прежде чем они переросли в кристаллы освобождённой любви.

Тебе, Лёвушка, пришлось много выстрадать. Но перед тобой ещё огромная, долгая-долгая жизнь. Всё ещё встретится тебе на пути. Но знай одно: нет таких ступеней совершенства, которые сваливались бы с неба на плечи человеку сами собой, словно из рога изобилия, который держит чья-то рука, усыпая путь цветами. Каждый цветок — собственный труд человека. Каждая удача — твоя победа в тебе самом.

И то, что ты называешь словом «удача», — это результат твоего знания и твоё достижение на пути освобождения. Это твоя внутренняя мощь и победа, а не те внешние блага, которые обыватели зовут удачами, стараясь добыть их себе чужими руками и трудом.

Если временами тебе будет становиться особенно трудно и тяжело, знай тогда, что ты проходишь одну из ступеней своего освобождения и что в тебе умирает какая-то часть прежних иллюзий. Их умирание всегда нелегко для земного существа, наделённого сознанием и чувствами двух миров — неба и земли.

В моменты тяжёлых испытаний и страданий прибегай к помощи людей, подобных Иллофиллиону, чей ковёр любви расширился в сияющую сферу, охватывающую и его самого, и всех, кто к нему подходит. Дядя Али говорил мне, что скоро направит меня к тебе в Общину. Я был в этом месте уже два раза и буду счастлив, если встречу там с тобой.

Прими мой сердечный привет, дорогой друг. Не стоит и говорить, как я буду рад, если ты не откажешь мне в своей дружбе и будешь мне писать. Я же всегда с тобой в мыслях и дерзаю назвать себя твоим верным другом.

Али Махмуд».

Это было второе письмо, полученное мною от Али-молодого. Я поневоле вспомнил, как я караулил сон Флорентийца и читал в духоте вагона его первое письмо.

Как сравнительно мало прошло времени, ещё и года не исполнилось с нашей первой встречи с Али, а сколько уже промелькнуло событий. И таких событий, которые закрыли собою образ того мальчика, который приехал когда-то в К. Я невольно улыбнулся, когда представил себе того наивного, невнимательного, не умеющего владеть собой Лёвущку, который шёл на пир Али и воображал себя героем маскарада. Мне показалось, что я даже не мог теперь испытывать такие экспансивные чувства, как в то время. Вспомнил я и своё отчаяние, одиночество, слёзы брошенного существа — и ясно понял, что уже переступил какую-то ступень сознания и больше не буду искать счастья в той или иной форме внешней жизни.

Вероятно, я ещё долго раздумывал бы о всевозможных вопросах, которые появлялись, ассоциируясь с воспоминаниями, но меня отвлек цветок,

брошенный в окно. Я поднял цветок, вышел на балкон и увидел Иллофиллиона, звавшего меня к горной речке купаться.

— Да ты, Лёвушка, не спал? Это никуда не годится, — говорил мне приторно-грозным тоном мой дорогой друг и наставник. — Сегодня я буду знакомить тебя с большим числом моих друзей. Среди них будет немало прелестных дам, и мне вовсе не хочется, чтобы они составили себе впечатление о скучном Лёвухе, который дремлет за завтраком.

Я уверил Иллофиллиона, что не ударю лицом в грязь, спрятал письма, захватил простыню и быстро нагнал своего уже спускавшегося вниз друга.

Мы шли теперь по той живописной долине, которую я наблюдал со своего балкона. Тропа круто свернула влево, мы обогнули небольшой сад, и я снова застыл от изумления. Горная речка текла издалека, падала уступами, бурлила и пенилась, но у песчаной отмели, куда привёл меня Иллофиллион, разливалась большим озером, как огромная чаша, и вытекала снова узкой, бурлящей по уступам речкой.

Вокруг озера росли пальмы и было раскинуто много купален. Озеро было глубокое, вода холодная. И только немногие, отличные пловцы и спортсмены, решались переплыть его. На другой его стороне тоже стояли купальни, и там я различал двигавшихся людей.

Было уже очень жарко, я мечтал поскорее окунуться, но Иллофиллион повёл меня дальше, на следующий уступ горы. Здесь я увидел такую же точно картину, река образовывала озеро и текла дальше. Но это озеро было гораздо меньше и мельче. Иллофиллион объяснил мне, что приезжающим впервые в Общину нельзя купаться сразу в нижнем озере, так как слишком низкая температура воды вызывает судороги и может даже смертельно повредить всему организму. Но, постепенно приучаясь к переходам от жаркой температуры воздуха к холоду воды в озере, воды, обладающей большими целебными свойствами, можно не только сбросить с себя кучу физических болезней, но и обновить весь организм.

Многие, прожив в Общине шесть-семь лет, уезжают помолодевшими на десятки лет и почти перестают болеть. Иллофиллион, не желая оставлять меня одного, купался тоже в верхнем озере. Не знаю, как бы я чувствовал себя в нижнем озере. Но вода верхнего меня пленила. После моря, в котором за время нашего долгого путешествия я часто купался, мягкая, совершенно прозрачная и приятно прохладная вода озера, где был виден мельчайший камушек, где дно было как бархат, где не плавало ни одной медузы, казалась мне блаженством. Я никак не мог решиться расстаться с озером, и только предупреждение Иллофиллиона, что близится час женского купания и я задержу дам, заставило меня вылезти из воды. При этом я вздыхал и обещал

Иллофиллиону завтра же найти себе ещё одно озеро, где бы можно было купаться сколько захочешь, не боясь дамского нашествия.

Иллофиллион смеялся и угрожал познакомить меня с одной американкой, очень богатой дамой, которая не любит юношей-затворников и превращает их в своих пажей. Я возмутился и просил принять к сведению, что в Америку ни за какие блага не поеду и знакомиться буду только с русскими. Едва я успел договорить фразу, как за купальней послышались голоса и смех.

— Это что же значит? — услышал я весёлый, очень молодой женский голос, говоривший по-английски. — Лорды всё ещё на озере? Разве не пробило семь?

— Нет, милостивые леди, — отвечал Иллофиллион, — ещё три минуты в распоряжении лордов. А кроме того, один русский граф, только что приехавший, опоздал специально, чтобы скорее познакомиться с американской леди. Он так много слышан о её уме и воспитательских талантах, что мечтает попасть в число её пажей.

Всё это Иллофиллион говорил кому-то на мостике купальни, при этом так уморительно пародируя интонацию женского голоса и чуть неправильный акцент, что я крепился-крепился, но всё равно сорвался и залился своим прежним мальчишеским хохотом. Иллофиллион распахнул дверь купальни, вытащил меня на берег, и... я замер, превратившись в «Лёвущку — лови ворон».

Передо мной стояли две женщины. Одна была полная, среднего роста, с сильно вьющимися волосами, не отличавшаяся красотой шатенка. Но глаза её, огромные, серые, навывкате, живые и с властным выражением, точно не вмещались в это плотное тело. Этим глазам, казалось, всё надо было знать, во всё вникнуть и вмешаться. Ей было на вид лет тридцать.

Рядом с ней стояла девушка, совсем юная и тонкая, болезненного вида, с тёмными волосами, прехорошенькая, очень добрая на вид и... довольно печальная. Я не мог ничего понять. Очевидно, голос принадлежал молодой? Но вот заговорила старшая — и нечто вроде мороза пробежало по моей коже: голос принадлежал ей. Кому же это Иллофиллион наметил меня в пажи? Этим электрическим колёсам, а не женским глазам, должно быть, никак не угодишь.

Старшая дама улыбнулась — точно дырочку просверлила в моём сердце — и вновь сказала:

— Будь моя воля и не мешай моё величайшее преклонение перед вами, доктор Иллофиллион, я бы запретила детям раньше семнадцати лет являться в Общину. Особенно таким нервным, как ваш спутник.

— Ничего, Наталия Владимировна, мой друг уже опередил многих. А главное, пришлось бы начать запрет с вас. Ведь вы-то приехали сюда,

когда вам ещё не было семнадцати лет. И всё же вас приняли здесь с радостью, и жизнь здесь не повредила вам.

Иллофиллион представил меня обеим женщинам, назвав одну Наталией Владимировной Андреевой, а другую — леди Бердран.

— Через день всё равно будете звать меня Наталией, так что можете и не запоминать моего отчества, — сказала Андреева, протягивая мне руку. И какой изяшной и приятной была эта рука! Я сразу почувствовал в ней друга и перестал бояться её глаз.

— Ну и шила же у вас вместо глаз! — заявила она мне.

— Бог мой, а я только что хотел сказать вам, что ваши глаза — электрические колёса! Должно быть, они на дне морском гвоздь отыщут. Я уже почувствовал, как вы просверлили меня ими, Наталия Владимировна!

— А я что же? — рассмеялась леди Бердран. — У меня ни шил, ни колёс нет, и дырочек сверлить не умею, к какому же рангу смертных причисляюсь я?

— Вы, леди, звезда удачи. Я уверен, что встреча с вами несёт всем удачу. И ваша печаль происходит от того, что вы у всех берёте скорбь и бросаете им взамен свою доброту.

— Пошадите, Иллофиллион! Вам надо было вашего друга купать сразу в нижнем озере, — расхохоталась Андреева.

Иллофиллион взял меня под руку, весело посмотрел на дам, ещё веселее засмеялся, назначил им встречу в столовой и побежал, увлекая меня за собой, как бегают школьники.

Опять мне пришлось поразиться. Положительно с моим водворением в Общине я только и знал, что удивлялся. Иллофиллион, такой серьёзный, степенный, так редко смеявшийся, а только улыбавшийся, был здесь совсем другим. Я не мог себе представить, что Иллофиллион может бегать и шалить со мною, как мальчик.

Через несколько минут я взмолился и попросил Иллофиллиона перейти на самый медленный шаг. От моего прохладного купания не осталось и следа. Я был мокрым, и пыль набилась в мои сандалии, Иллофиллион же имел вид только что вышедшего из гостиной.

— Не огорчайся, Лёвушка, привыкнешь к климату и выучишься ходить и бегать так, чтобы не поднимать пыли. Иди поменяй свою одежду, прими душ, скажи Яссе, он тебе поможет. Я буду здесь тебя ждать.

Иллофиллион сел в тень на скамью возле крыльца, и не успел я подняться на верхнюю площадку, как он уже оказался окружённым большим кольцом людей.

Ясса посоветовал мне принять холодный душ, что я с восторгом исполнил, дал мне свежий хитон и сандалии и сказал, что утром все ходят

в одном лёгком хитоне и только к обеду надевают два. Обед бывает здесь рано, в два часа.

Я удивился, как можно обедать в самый зной, но не сказал ничего. Ясса же, точно поняв мои мысли, объяснил мне, что утренняя столовая, куда мы пойдём сейчас, — западная. Обеденная — в самом конце сада, у речки, она северная, открытая, обвитая вся лианами и плющом, а чайная — на восточной стороне парка, у самой скалы. Жарче всего не в обеденной столовой, зелень которой всё время поливают водой и где дует ветер вееров, а в чайной, где даже устроен в скале грот для тех, кто плохо переносит жару. В гроте всегда прохладно, и многие даже занимаются там в полуденный зной.

Я сошёл вниз как раз с ударом гонга. Иллофиллион познакомил меня с некоторыми из своих собеседников, взял меня под руку, и мы пошли всей группой к столу.

Я посмотрел по сторонам с беспокойством, думая, что мои новые знакомые дамы запаздывают к завтраку. И здесь мне был уготован сюрприз. С противоположной стороны парка шли Андреева и леди Бердран. Очевидно, была ещё другая, кратчайшая дорога от реки прямо в парк.

Теперь я мог лучше рассмотреть обеих дам. Андреева шла довольно тяжёлой походкой, свойственной полным людям. Её глаза на самом деле походили на электрические шары. На меня она снова произвела впечатление намагниченного человека. Мне казалось, что её спутница умышленно держится подальше от неё. Леди Бердран улыбнулась нам и села за соседний стол, где уже сидел немолодой человек, очень красивый, живой, с прекрасными манерами, бритый. Я принял его за француза. Он приветствовал свою соседку, ловко подставил ей кресло и сел сам только тогда, когда она опустилась в кресло и придвинулась удобно к столу.

Иллофиллион сказал мне, что этот человек поляк, простой рабочий, добившийся самостоятельными усилиями высшего образования и принимавший участие в борьбе за освобождение своей родины. Имя его — Ян Синецкий, он не первый раз уже здесь.

Возле Андреевой я увидел человека небольшого роста, с прелестными, добрыми и детски наивными глазами. Окладистая серо-седая борода и такие же кудрявые волосы в сочетании с большими близорукими синими глазами — весёлыми и юмористически-плутоватыми — всё было на этом лице красиво и обаятельно, и очки ему шли. Щёки у него были розовые, губы красные, зубы перламутровые, и весь он мог бы быть моделью для статуи добряка. Улыбка почти не сходила с его губ, и одет он был в лёгкий, безукоризненно белый костюм из тончайшего шёлка. От него так и веяло чистотой и аккуратностью, что ещё резче подчёркивало его контраст с сидящей рядом Андреевой.

Грубо высеченные черты волевого лица, необычайная живость глаз и пристальность взгляда, какая-то суровая сила, исходившая от неё, составляли полную противоположность с образом её соседа. Было заметно, что она не склонна уделять особого внимания своей внешности. Кружевная белая косынка, покрывавшая её волосы, была наброшена небрежно. Платье было измято, книга, которую она держала в руке, потрёпана, из зонтика торчали две обнажённые спицы. Обе эти фигуры, такие разные, поглотили сразу моё внимание. Каждая из них показалась мне обаятельной по-своему, и я подумал, что как бы разны ни мыслили эти люди — они могут сообща решать какую-то задачу жизни и вливаться в её гармонию, дополняя друг друга.

Я только было хотел спросить Иллофиллиона, не являются ли они мужем и женой, как услышал громкий и весёлый смех Андреевой, которая сказала Иллофиллиону через стол:

— Я же говорила вам, Иллофиллион, что вашего чудо-шило-графа надо было сразу купать в холодном озере. Он уже нашёл тему для своего будущего романа, и бедный мистер Ольденкотт попал первым в его герои.

— Не думаю, Наталия Владимировна. Лёвушка так напуган вами, что скорее будет искать темы для своих произведений в других секторах Общины, — юмористически поблёскивая глазами, ответил Иллофиллион.

Несмотря на внешнюю грубоватость, от Андреевой так и веяло мощью доброжелательства, когда она смотрела на меня. Я как-то сразу с ней сдружился внутренне, чему и сам теперь удивлялся. Впервые я ясно понял, что у Андреевой не было чувства внешнего такта, но её мудрость была выше, чем у всех, кто сидел с ней рядом. Я улыбнулся и, нисколько уже не боясь её глаз, сказал:

— Не знаю, что было бы, если бы Иллофиллион приказал мне искупаться в холодном озере. Но тёплое озеро породило во мне одно желание: сделаться вашим пажом.

Не только Иллофиллион, Ольденкотт, Синецкий и леди Бердран, но и те, кто сидел за нашим столом подальше, не могли удержаться от смеха. Кастанда, подошедший к Иллофиллиону спросить, какой диетический стол он мне назначит, смеялся до слёз. Наталия Владимировна выждала, пока её соседи успокоились, и снова сказала своим чётким, резковатым голосом, необыкновенно молодым для её лет:

— Лёвушка, запомните хорошенько этот день и этот смех. Он мне будет большим оправданием, когда Али приедет сюда и спросит меня, что я сделала для человека, пожелавшего добровольно стать моим пажом. Общий смех моих друзей говорит о том, в какой тирании я держу моих юных приятелей. Но кончается дело всегда так, что юные приятели забирают меня в лапы и я служу им объектом для их проказ либо забав.

Я мало понял, что скрывалось за общим смехом и в чём состояла соль слов Андреевой. Иллофилион, весело поглядывая на меня, предложил мне съесть салат из зелени, потом какую-то особенно вкусную кашу, и, наконец, очередь дошла до прекрасного кофе, по которому я соскучился за долгое время нашего путешествия, поскольку везде нам предлагали какао или шоколад.

Рядом со мною сидел высокий, стройный, гладко выбритый молодой человек — мистер Черджистон. Будучи математиком по образованию, он в данное время занимался историей. Он тоже был в Общине впервые и приехал сюда несколько дней тому назад. Я почувствовал, что он ещё не освоился здесь. Мистер Черджистон имел от кого-то письмо к Иллофилиону, о чём я тут же сказал моему другу.

— Да, я знаю, мистер Черджистон, ваш друг писал мне ещё в Константинополь, что направляет вас сюда. Он просил меня быть вам руководителем здесь, что я с большой радостью беру на себя. Ананда тоже говорил мне о вас. Я привёз вам от него письмо и небольшую посылку, — ласково ответил он англичанину.

Никогда не забуду, что произошло с молодым человеком, когда он услышал, что Ананда прислал ему письмо и посылку. Выдержанный, строгий англичанин вздрогнул, покраснел, уронил вилку и салфетку и с глазами, полными слёз, чуть слышно сказал:

— Неужели Ананда сам написал мне письмо?

— Да, мистер Черджистон, и не только сам написал, но и дал мне подробные указания, как подготовить вас к встрече с ним. Когда он сюда приедет, вы должны быть готовы его сопровождать в далёкое и долгое путешествие. Ананда просил меня передать вам, чтобы вы постарались побороть свою застенчивость, потому что вам придётся много жить в больших светлых городах, среди людей, в постоянном общении с ними.

— Очевидно, мне не суждено жить так, как мне бы хотелось, — вздохнул мистер Черджистон. — Я мечтал о монашестве, а попаду в мир, да ещё в суету. Но чтобы следовать за Анандой, я рад идти каким угодно путём.

Завтрак закончился, мы поклонились нашим соседям и новым знакомым и вместе с англичанином поднялись в наши комнаты.

— Я очень прошу вас, доктор Иллофилион, и вас, Лёвушка, зовите меня Альвер, — сказал Черджистон. — Так звали меня самые дорогие мне люди. И я бы очень хотел слышать от вас обоих именно такое обращение.

— Прекрасно, Альвер, мы так и поступим, — передавая ему письмо и посылку, сказал Иллофилион. — И если это не нарушает вашей программы дня, приходите через полчаса в парк, к дальнему пруду у столетних пальм. Я намерен привести Лёвушку к подножию гор, ближних, зелёных, и познакомить его немного с окрестностями, а заодно и с ботаникой немного.

— Как я счастлив, что вы возьмёте меня с собой! Я буду у пальм через полчаса.

Альвер вышел, унося с собой драгоценное письмо и небольшой ящик, довольно тяжёлый.

— Альвер очень многое выстрадал в своей жизни, — сказал мне Иллофиллион, когда мы вооружились лопатами, огромными войлочными шляпами, ножом и сумкой и вышли в сад. — Его жизнь до последних двух лет была сплошным ужасом в семье мачехи и её детей, которых он содержал, работая без отдыха. Юноша уже готов был прийти в отчаяние, когда его встретил один из учеников Ананды. Он привёл его к Ананде, когда тот был проездом в Дувре, и с тех пор Альвер ожил, Ананда же помог ему и сюда добраться.

— Ах, Иллофиллион, как трудно мне здесь собрать внимание. Я хотел бы сразу увидеть всех, кто здесь живёт. А выходит, что чуть взгляну на одного — и увязну в нём, забыв обо всех остальных. До сих пор я умел так сосредоточиваться, чтобы и человека — даже очень замечательного — видеть, и не упускать из поля зрения всего окружающего. Здесь же моего внимания едва хватает на какое-либо одно лицо.

— Это не потому, Лёвушка, что ты стал рассеянным. А только потому, что внимание твоё сконцентрировалось и сам ты стал более тонко и глубоко воспринимать эманации и вибрации встречаемых людей. Твой организм закалился, его психические и физические качества усовершенствовались по сравнению с тем, что было раньше, и теперь ты глубже видишь сущность человека.

Если ты вспомнишь свои ощущения от встреч с людьми со времени твоего отъезда из К., ты отметишь, как тебя постоянно разбивали токи, исходившие от людей. Даже от общения с такими высокими и светлыми личностями, как Али, Флорентиц, Ананда, тебя постоянно приходилось подкреплять концентрированными соками лекарственных растений в виде конфет, пилюль, капель. Теперь же ты и не вспомнил о существовании всех этих средств даже в таком необычном событии, как встреча с Андреевой. А между тем именно она могла бы подействовать разрушающе на твоё спокойствие. И это ещё может случиться в дальнейшем. Заметил ли ты, что американка, давно уже живущая рядом с ней, старается держаться на некотором отдалении от Наталии Владимировны? Возле Андреевой с самого её детства все окружающие испытывали беспокойство, а предметы плясали, как только она к ним приближалась. Её и сейчас не пускают в физиотерапевтические кабинеты. Электрические приборы от одного её приближения портятся, не выдерживая той колоссальной мощи электричества, которую излучает её организм. В ней обнажены все её психические силы. Она из тех внезапно обновлённых людей, в ком Вечность сразу поглотила их животное

начало и возвратила им все их прежние таланты и знания. Но в ней нет гармонии сил божественного огня с огнём земли. Последний вырывается из неё вспышками, хотя всегда огонь Света его превосходит и подавляет. Но из-за того, что в ней нет гармонии этих двух огней, она и сама подвержена вспышкам раздражения, и других может заражать неустойчивостью. И всё же ты остался перед нею в полном самообладании, хотя она увидела и прочла в твоей ауре все твои особенности.

К нам подошёл Альвер, которого мы уже несколько минутждали, стоя среди совершенно сказочной красоты, в тени столетних пальм, окружавших пруд и отражавших в нём свои огромные кроны. По воде плавали белые и чёрные лебеди, а между пальмами стояли небольшими кучками розовые фламинго и ещё какие-то никогда мною не виданные прежде птицы.

Вдали среди пышной зелени виднелось несколько домиков и расхаживали, важно распуская чудесные хвосты, белые павлины. Мимо нас проходили люди в белых коротких одеждах. Все они, очевидно, хорошо знали Иллофиллиона, как и он их. Я поражаюсь его памяти. Каждого он приветствовал по имени, каждому задавал вопросы совершенно разные. Но результат этих вопросов был всегда один и тот же: лица людей озарялись, на них, точно луч света, мелькали радость и бодрость.

Пока мы медленно проходили по тенистому парку, я мысленно вздыхал: какой колоссальный разрыв был между мною и Иллофиллионом в наших знаниях, силах, талантах, наконец, в силе любви! Где мог брат Иллофиллион такой неугасимый костёр этой любви, чтобы не расточить и не опустошить сердца теми потоками внимания и теплоты, которыми он буквально насыщал каждого, кто нам встречался?

— Ну, Лёвушка, в Общине нет места унылым мыслям. Сюда попадают только те, кто победил в себе все привычки отрицать и скорбеть, унывать и жаловаться. Брось всякого рода сомнения и приготовься к первому опыту пустыни. Как только мы выйдем из тени парка — зной набросится на нас со всех сторон.

Иллофиллион надвинул мне глубоко на голову мою огромную войлочную шляпу и спустил сзади на плечи вуаль, которой я даже не заметил на шляпе. И действительно, лишь только мы все втроём шагнули за калитку сада, я сразу же почувствовал себя словно в огненной печи. Я оценил внимание Яссы, давшего мне высокие закрытые сандалии на толстенных подошвах. Песок, которого я случайно коснулся, был горяч, как угли. Пот лил с меня градом, вся моя одежда становилась мокрой, тут же высыхала, снова взмокала; от меня шёл пар. Я так ошалел, что едва доплёлся до подножия гор, с которых там и сям катились ручьи и били ключи, орошая прекрасную растительность, траву и цветы. Иллофиллион показал мне несколько кустов

дикой ежевики, громадной, спелой, ветви которой под тяжестью ягод свисали вниз. Я набросился на неё и говорил, что в жизни ничего вкуснее не едал.

— Ну, а дыня? Разве ты не мудрец? — смеялся Иллофиллион.

Внезапно я вскрикнул, чуть не наступив на выползшую из-под моих ног змею.

— Это не змея, — сказал Альвер, преспокойно беря в руки отвратительно шипевшего гада. — Это уж, Лёвушка, он безобидный. Вот на днях я действительно был потрясён странствующим укротителем змей, которого Кастанда велел накормить обедом, и он в благодарность показал нам целый спектакль со своими кобрами и с большой гремучей змеей. Змеи повиновались его заунывной игре на дудочке, сначала изображали нечто вроде танца, вытягиваясь вверх и качаясь на своих хвостах, что лично мне было отвратительно. Потом они стали все сразу набрасываться на своего хозяина. Многие из нас перепугались, думая, что хозяин будет задушен своими змеями. Но он преблагодушно продолжал играть, а змеи повисли на его шее, руках, ногах и бёдрах, как шевелящиеся ожерелья. Я смотрел на это как зачарованный и не мог постичь, в чём же заключалась власть человека над этими чудовищами, укус даже одного из которых означал неизбежную смерть через несколько минут.

Наконец хозяин отправил змей в корзины и мешки, оставил только одну змею и предложил кому-либо из желающих взять её в руки. Он уверял, что того, кто бояться не будет, змея не укусит. Ольденкотт уже протянул было руку, чтобы взять змею. Но Андреева резко схватила его за руку и не менее резко ухватила змею и бросила её хозяину. Всё это произошло так молниеносно, что никто и опомниться не успел. «Разве Али прислал вас сюда, чтобы вы учились шарлатанству?» — закричала Андреева громким и властным голосом; из глаз её брызнули такие искры, что многие из нас даже попятнулись. Змея, отброшенная так непочтительно, стала бешеной. Да и все остальные змеи начали грозно шевелиться в своих мешках, к счастью, уже завязанных. Хозяин же закричал Кастанде на непонятном мне языке что-то, по всей вероятности, мало почтительное. Кастанда передал Андреевой, что хозяин змей упрекает её в том, что она разбудила злого духа в змее и теперь, если она сама же его не укротит, змея непременно кого-либо укусит. Но вину за это он на себя не возьмёт, потому что над злым духом он не властен. Андреева вдруг сказала ему на его же языке несколько слов, которые нам перевёл Кастанда: «Бери сейчас же свою змею и сам убирайся немедленно отсюда. Если промедлишь пять минут, я посажу тебе на голову рога того оленя, который бежит сюда».

Не описать никакими словами, что стало с гордым и заносчивым закликателем змей. В один миг он сгрёб бесившуюся змею, сунул её себе за па-

зуху, схватил мешки и корзины и бросился улепётывать не хуже оленя. При этом он бормотал какие-то заклятия и с ужасом оглядывался на Андрееву.

— Я бы очень просил вас, Альвер, бросить этого несносного ужа, — жалобно сказал я. — Я не Андреева и не умею властно приказывать, но ваш уж мне так надоел, что я, чего доброго, брошусь наутёк вроде заклинателя змей.

Я насмешил своих спутников, но зато легко вздохнул, когда англичанин выпустил ужа в траву. Подойдя к Иллофиллиону, я спросил его, почему он мне не сказал, что в горах много змей.

— Потому, Лёвушка, что здесь ты увидишь не только змей, но и тигров и львов, которых тоже научишься не бояться. А пока давайте-ка, друзья, срежем эту траву и вот эти цветы да соберём листья с тех дальних кустарников. Сегодня последний день, когда их можно собирать для лекарственных целей.

Иллофиллион показал нам, как надо осторожно срезать траву, не задевая земли, а цветы, наоборот, надо брать с корнями и землёй, и как аккуратно срезать только молодые листья с кустарников.

Казалось, работа была лёгкая. Но прежде чем наши с Альвером сумки были наполнены, мы страшно устали. Если бы не боязнь змей, я бы давно уже улёгся на траве. Сумка же Иллофиллиона была полна, с трудом закрывалась, а сам он был свеж и прекрасен. Он поглядывал на нас, по обыкновению поблёскивая смеющимися глазами. Мне очень хотелось спросить его, что он думает об Андреевой, но он мурлыкал песенку, говорил, что пора мне учиться играть и петь, а то я останусь навеки музыкальным невеждой, и, не дав нам отдохнуть, заявил, что пора двигаться домой, не то мы опоздаем к обеду. Никакие мои мольбы об отдыхе не помогли. Иллофиллион, смеясь над моим страхом обратного перехода по зною, намочил мою шляпу в ручье, снова напялил мне её на голову и при этом забавлялся моим жалобным видом.

— Да ведь это напоминает дервишскую шапку. А ну как я опять заболею?

Иллофиллион ещё веселее засмеялся, схватил меня за руку и пустился бегом вниз. Только теперь я понял, почему так устал, карабкаясь за травами вверх по горе. Трава была скользкая. Но я осознал это только сейчас, когда бежал за Иллофиллионом вниз. Я, собственно, не бежал, бежал он, а я скользил, как на лыжах, уцепившись за его руку и плечо. Спуск продолжался, вероятно, несколько минут, но они показались мне часом Дантова ада. Я так и представлял себе, что вот-вот споткнусь о какую-нибудь кочку и буду лежать со сломанной ногой или рукой. Когда мы наконец вполне благополучно остановились внизу, у Иллофиллиона, щёки которого покрылись румянцем, глаза блестели не хуже солнца. У него был такой счастливый, радостный вид, что я не смог сказать ему ни одного слова упрёка, хотя собирался выпалить их сразу сто и заявить ему, что я так больше не играю и что летать с гор не желаю. Иллофиллион оглянулся назад, куда посмотрел и я. Посреди горы,

беспомощно держась за ствол дерева, стоял Альвер. Большой, широкоплечий, он, очевидно, застыл от изумления, наблюдая наш «полёт валькирий». Вся его фигура, с изумлённым выражением лица и с приоткрытым ртом, была так уморительна, что я схватился за живот и захохотал, забыв всё на свете.

Между тем Иллофиллион, как кошка, в одно мгновение очутился возле Альвера. Взвалив его на плечо, он побежал с ним вниз, как будто бы нёс птицу. От смеха я сначала перешёл к молчаливому изумлению, потом снова к смеху, пока Иллофиллион не сказал, что сейчас велит Альверу принести ужа, чтобы привести меня в равновесие.

Альвер сам был так ошарашен, что не мог прийти в себя, поэтому я не боялся его змей. Я уцепился за Иллофиллиона и почти половину дороги давился от смеха. Должно быть, воспоминания о картинах произошедшего на горе и о ранее неведомом мне качестве Иллофиллиона, вызвавшем во мне восторг, — о его ловкости и силе — захватили меня, и я совсем забыл, что путь предстоит далёкий, а вокруг палит зной и нас засыпает пыль, поднятая проходившим караваном живописных верблюдов...

Когда мы вошли в тень парка, Иллофиллион повёл нас совсем другой дорогой. Альвер, удивлённо оглядываясь, сказал:

— Как странно, доктор Иллофиллион, я здесь уже вторую неделю, а совсем не видел ни этой части парка, ни тех прелестных домиков вдали. Они точно игрушечные, белые, блестящие. Что это за селение?

— Этой части парка вы не видели потому, что она соединяется с большей его территорией узкой тропой через ущелье. Вы, вероятно, подходили к ущелью и думали, что тут конец всей Общине. А на самом деле тут-то, собственно, и начинается деятельность Общины. Ряд домов, о которых вы спрашивали, — это первое детское поселение. И таких приютов у Общины десятки. Они расположены вокруг парка и по течению реки. Дальше высятся школа, а на самом краю селения, направо, больница. Налево — приют для глухонемых и их школа. Через некоторое время, когда вы с Лёвушкой привыкнете к климату и езде верхом на верблюдах, я возьму вас с собой в путешествие недели на три-четыре, а может быть, и больше. Мы объедем всю Общину. Вы познакомитесь с деятельностью не только тех, кто проводит здесь по несколько лет, но и тех, кто живёт постоянно.

Двинувшись дальше, мы очень скоро пришли к горной расселине, и мне показалось, что дальше хода нет. Но Иллофиллион обогнул огромный камень, и я увидел за ним маленькую тропинку, напоминавшую русло высохшего ручья. Идя по ней, мы вышли к противоположной стороне расселины, представлявшей собой сплошную стену. Вдруг Иллофиллион нагнулся, шагнул в грот, видневшийся с левой стороны, и через минуту мы стояли у тех же столетних пальм, откуда начали наше путешествие, только совершенно

с другой стороны озера. Я оглянулся назад и не мог решить, из какого же отверстия горы мы вышли. Целый ряд пещер, одинаково обвитых лианами и ещё какими-то вьющимися растениями, был за нами. Но раздумывать было некогда, так как, сойдя к пруду раньше нас, Иллофилион отвязал маленькую лодку, и мы переплыли пруд, причём ни лебеди, ни фламинго и не думали бояться нас.

Мы очень точно вернулись к обеду, успев принять душ и переодеться. Когда мы сели на свои места в обеденной столовой, которую я видел в первый раз, я заметил, что здесь все столы были круглыми и соседи наши по столам были всё те же. За соседним столом я встретил пристальный взгляд Андреевой. В моём воображении очень ярко нарисовалась сцена со змеёй, рассказанная Альвером. Ольденкотт между тем с серьёзным видом подставлял кресло своей соседке и заботливо собирал её вещи, которые она повсюду роняла, складывая их на специально приспособленные в стороне полки. Я заметил, что спицы больше не торчали из её зонтика, и с умилением подумал, что это он сам их ей пришил, как заботливая нянька.

Я забыл сказать, что креслица во всех столовых были одного типа — это были пальмовые или бамбуковые стволы, затянутые буйволиной кожей. Они легко складывались и раскладывались, были устойчивы и удобны. Кресла эти были довольно низкими, как и столы. Все столы были покрыты белыми чистыми скатертями, всюду стояли в вазах цветы. Вазы были из керамики местного производства, все разные, и показались мне ценными в художественном отношении. На каждом столе стояло по нескольку кувшинов с молоком, и кувшины не отставали в красоте от ваз.

Обед проходил спокойно, никакой суеты не чувствовалось, несмотря на огромное количество присутствовавших. Ни за одним табльдотом я не видел такого количества людей, и всюду была суета. Здесь же у каждого стола были свои подавальщики блюд, а за столом все обслуживали себя сами.

Ещё раз меня поразила особая атмосфера этого общества. Манеры были далеко не у всех так элегантны, как у польского рабочего Синецкого. Внешний вид людей был самым разнообразным. Но по скольким бы лицам ни пробежал мой взгляд, все они были значительны, на всех лежала печать духовности и от каждого из них веяло добротой и миром. Только несколько лиц, среди которых было и лицо прекрасной американки, леди Бердран, были печальны, даже более того, как-то скорбно прекрасны, что лишь подчеркивалось на фоне радостности остальных.

Не успел я отчётливо задать самому себе вопрос, почему эти несколько лиц носят такое особенно глубокое и вдохновенное выражение скорби, как услышал неподражаемый голос и своеобразный акцент Андреевой, говорившей мне:

— Советую вам, достопочтенный и любознательнейший граф, не забегать вперед. Завтра, если вам угодно, я отвечу на ваше «почему» очень точно. А сегодня сосредоточьте ваше внимание на радостях. Если желаете, можете присоединиться к нашей экскурсии за дынями после обеда.

Тут я переполошился. Я уже привык на свои немые вопросы получать мгновенно ответы Иллофиллиона или Флорентийца, Ананды или сэра Уоми. Но чтобы в мою черепную коробку заглядывала ещё и эта женщина с глазами, подобными электрическим колёсам, я совершенно не желал. Я посмотрел на сидевшего со мной рядом Иллофиллиона, но он, казалось, не слышал и не замечал моего к нему обращения.

— Мы с вами ещё не были представлены друг другу, — улыбаясь, сказал мне Ольденкотт. — Моя приятельница, Наталия Владимировна, говорила мне о ваших талантах. Вы не обращайте внимания на её шутки. Она ни в какие рамки общечеловеческих пониманий не умещается и нередко озадачивает людей. Но на самом деле она добрейшая женщина. Если не относиться к ней как к обычной женщине, а признать в ней сразу нечто волшебное, то подле неё чувствуешь себя в полном спокойствии и безопасности. Правда, она не очень любит змей, но уж с этим надо примириться, — прибавил он, притворно вздыхая и бросая лукавый взгляд на свою соседку.

Общий весёлый смех, а также просьбы нескольких соседей взять их с собой на дынное поле избавили меня от ответа. Я посмотрел на Альвера, который тоже смеялся. Он шепнул мне:

— Соглашайтесь идти собирать дыни. Это недалеко. Идти туда надо парком, поле почти рядом. Дыни превосходные, аромат замечательный. А главный интерес в том, как она их выбирает. Она сама будет сидеть в тени, почти не смотря на поле, и говорить, какие дыни надо снимать. Сам старший садовник и огородники поражаются, как она это делает, точно насквозь каждую дыню видит.

Я подумал, что моя новая знакомая этак, пожалуй, и сквозь землю видеть может. Вдруг Иллофиллион повернулся ко мне и совершенно серьёзно меня спросил:

— А ты, Лёвушка, думаешь, что сквозь землю видеть нельзя?

Я оторопел и даже не знал, как мне принять и понять его вопрос. Тут все стали вставать с мест и убирать к стенкам свои кресла. Я уцепился за Иллофиллиона, сейчас мне не хотелось никуда идти, а хотелось просто побыть в тишине с моим дорогим другом или хотя бы одному, чтобы привести в порядок свои разбегавшиеся мысли.

— Я думаю, Лёвушка, мы с тобой сегодня не пойдём за дынями, зато я покажу тебе любимую комнату Али. Когда Али приезжает сюда, он всегда там живёт. Туда вход никому не разрешён без него. Но Кастанда получил

приказание Али дать тебе возможность проводить в его комнате столько времени, сколько ты захочешь, и тогда, когда посчитаешь нужным. Вот и Кастанда идёт нам навстречу, очевидно, он несёт тебе ключ.

— Я получил приказ, Лёвушка, от моего любимого Учителя и господина этого дома вручить вам, на второй день вашего приезда, ключ от его комнаты. Вы можете там проводить столько времени, сколько вам угодно. За всё время моей жизни здесь — скоро этому будет двадцать лет — только второе лицо получает право свободного входа в эту комнату в первый свой приезд в Общину. Первым был Али-молодой, вторым являетесь вы. Очевидно, у Учителя есть веские основания для оказания вам такой великой чести. Примите мои поздравления и моё почтение и считайте меня в числе ваших усердных и радостных слуг. Я рад служить вам так, как служил бы ему самому.

Кастанда низко поклонился, я же, совершенно смущённый и тронутый, воскликнул:

— Али не просто оказывает мне честь, а делает это из великого снисхождения ко мне и из любви к моему брату. Я же ничем ещё не мог заслужить такой исключительной доброты Али по отношению ко мне. Если сейчас мне оказывается это чудесное, исключительное внимание, то, очевидно, мой великий друг Флорентиец просил об этом Али. Мне было бы очень неудобно, если бы вы подумали, что я сам по себе достоин этой чести. Я здесь только скромный слуга моего брата, самого Али и моего наставника Иллофиллиона. Возьмите ключ, Иллофиллион, я буду пользоваться комнатой только с вашего разрешения.

Я подал ключ Иллофиллиону, но он его не взял, а, наоборот, обнял меня и сказал:

— Дерзай, Лёвушка, учись нести бремя счастья и несчастья одинаково легко.

Выйдя из столовой, мы пошли не к большому дому, а к маленькому двухэтажному коттеджу с башенкой и балконом, стоявшему среди могучих пальм, как на отдельном острове, куда надо было проходить по мостику над речкой, опоясывавшей весь островок кольцом. Само это место было очаровательно, уединённо, поэтично. Белый домик был сложен из какого-то особого камня, гладкого, блестящего и похожего на белый коралл. Кругом царили тишина и чистота, скакали белочки на высоких кедрах, насвистывали птицы. Белый павлин бежал нам навстречу, точно хотел нас приветствовать.

У подъезда дома нас встретил старый беззубый слуга в азиатской одежде и чалме. Увидев в моей руке ключ, он распахнул, кланяясь, двери подъезда. Мы вошли в прихожую, поднялись по такой же белой, как наружные стены дома, лестнице на верхнюю площадку и очутились у двери, которую Иллофиллион велел мне открыть ключом.

Слов, чтобы описать мои чувства, когда я открывал дверь, мне не найти. Я точно стоял у заветной черты и видел жгучие, живые глаза Али. Я как бы слышал его голос, говоривший мне:

— Есть жемчужины чёрные — это ученики, идущие путём печалей и несущие их всем встречным. То не твой путь. Есть ученики, несущие всем розовые жемчужины радости, — и этот путь тебе определён. Иди, мой сын, привет тебе, будь предан и чист.

Я думал, что опять начал бредить, но прислушался чётче и явственно различил властный, с характерным тембром голос Али-старшего:

— Если встретишь скорбный лик ученика, идущего путём печалей, возлюби его вавое и подай всю силу своей бодрости и энергии ему в помощь. Ибо путь его самый тяжкий из всех подвигов Любви на земле.

Сколько слов пришлось мне сейчас найти, чтобы передать всё тогда понятое и услышанное. А на самом деле всё это промчалось как молниеносный вихрь сквозь меня, сотрясая мой организм, уничтожая всякое расстояние между мною и Али, соединяя меня с его мыслью каким-то чудесным и непонятым мне тогда образом.

Наконец тяжёлая дверь распахнулась, и мы вошли в комнату. Сразу же напротив входной двери была широко открыта дверь на балкон и по обе её стороны были настежь открыты окна. Всё это разделялось такими узкими простенками, что возникало впечатление, будто смотришь сразу на весь мир. Широчайший горизонт на долину, горы, раскиданные селения, мечети, стада, сады, куда только хватало глаз — всюду была жизнь, всюду взор попадал на какую-либо красоту, от которой невозможно было оторваться. Долго стояли мы с Иллофиллионом молча на балконе.

— Осмотри комнату, Лёвушка, и я переведу тебе изречения, которые ты увидишь на стенах.

Мы вошли с балкона в комнату. Несмотря на жаркий день, в ней не было душно, так как с восточной стороны солнце уже ушло, а с западной и южной сторон комната была защищена от солнечных лучей лестницей и башенкой. Гладкие белые стены внутри, такой же пол — ну точь-в-точь коралловый домик! То, что я принял за бордюры, оказалось надписями-изречениями, сложенными из кусочков того же камня, что и пол, и весь дом.

— Запомни, Лёвушка, первую, главную надпись над балконной дверью и окнами. Здесь написано:

Сила человека — Любовь. И она мчит его из века в век.

Сила-Любовь рождает человека и рождается в нём тогда, когда в нём созревает гармония.

Любовь — Гармония, и путей человеческих к ней семь.

Пока знай только это изречение. Ты дал слово себе изучить языки Востока. Кроме них, ты должен знать язык пали, на котором сделаны эти надписи. Этот язык открывает дверь к знанию тем, кто в неё стучится.

Я с благоговением смотрел на загадочные знаки изречений и думал: найду ли я ключ к двери знания?

По стенам комнаты стояли низкие белые диваны. У широкого окна, как и у камина, стояло по креслу. Кресло у камина поразило меня своей формой. Выполненное из грубых стволов какого-то тёмного, почти чёрного дерева, оно было прекрасно как произведение искусства, без сомнения очень и очень древнего происхождения. Оно одно только и выделялось тёмным пятном в этой чистой белой комнате. Обито оно было шкурами, должно быть тоже очень старинными. Шерсть почти вылезла, оставив одну кожу невиданной мною толщины.

У окна с левой стороны стоял письменный стол белого дерева, закрытый прекрасной крышкой, очевидно раздвигавшейся в стороны и похожей на большущие пальмовые листья. Я чувствовал себя здесь не совсем свободно. Меня сковывало благоговение, точно я стоял в храме. Я ни за что не согласился бы сесть где-либо в этой комнате, так недостижимо высоким казался мне сейчас её хозяин. Я даже говорить не решался, только потянул Иллофиллиона за рукав и показал глазами на дверь, молча приглашая его выйти из комнаты.

Он улыбнулся, оглядел ещё раз всю комнату, как бы посылая привет всем непонятным мне изречениям на стенах, и мы вышли, закрыли дверь молча и так же молча прошли через весь островок и парк к себе домой.

Белый павлин и восточный слуга провожали нас до мостика, и павлин на прощание распустил свой дивный хвост, сверкавший золотом и лазурью, и наклонил головку с хохолком, точно говоря: «До свиданья».

Когда мы вошли в наши комнаты, Иллофиллион сказал мне:

— Приляг и отдохни до чая. Здесь тебе пока нельзя переутомляться. Надо постепенно закалиться, чтобы хорошо переносить этот жаркий климат.

Я не возразил ни слова, хотя совсем не хотел ни лежать, ни спать. Сначала жара подавляла меня, но затем я заснул и проснулся только от зова Яссы, будившего меня к чаю. Я догнал Иллофиллиона уже внизу лестницы; он был в обществе двух мужчин, которых я ещё не видел. Один был светлый блондин, типичный швед, каковым и оказался. Звали его Освальд Растен. Он на вид казался юношей, и я удивился, когда узнал, что он уже второй раз в Общине. Второй собеседник был брюнет, француз Жером Манюле. Речь блондина, его манеры и походка были размеренно спокойны; брюнет же был подвижен как ртуть. Походка, движения, речь — всё выказывало в нём огромный темперамент, но суетливости в нём не было никакой: всё его су-

шество дышало доброжелательством, весёлостью и лёгкостью. Глаза его были тёмными и не особенно большими, но красивого разреза. Они сверкали умом, часто пристально и внимательно вглядывались во всё окружающее. Он мне показался писателем, что потом и подтвердилось.

Швед был из купеческой семьи, вопреки желаниям родни выбрал научную карьеру и уже был главой кафедры по истории в одном из немецких университетов. Когда Иллофиллион познакомил меня с ними, оба одновременно воскликнули:

— Как? Капитан Т.?

— Нет, — ответил я. — Я его брат.

— Вы вскоре прочтёте рассказ Лёвушки и будете рады принять в число своих друзей ещё одного юного писателя и будущего учёного, — улыбаясь, сказал им Иллофиллион.

Каждый из новых знакомых назвал меня «коллегой», и по дороге в чайную столовую оба моих знакомых представили меня трём дамам, двум молодым и одной пожилой. Но не молодые и красивые дамы поразили меня, а седая старая женщина. Первой мыслью, когда я её увидел, была: «А говорят, что старые женщины не могут быть красивыми, женственными и обаятельными!»

На высокой, чуть полной фигуре красовалась — именно красовалась, я не подберу другого слова, — прекрасная седая голова. Загар не портил лица с правильными чертами, большие чёрные глаза и чёрные же брови подчёркивали седину. Морщин у неё не было, лицо было моложаво. Но в глазах и улыбке было так много скорби, что у меня перед глазами встали слова Али, услышанные, когда я шёл в его комнату: «Если встретишь скорбный лик ученика, идущего путём печалей, возлюби его вавое и подай всю силу своей бодрости и энергии ему в помощь. Ибо путь его самый тяжкий из всех подвигов Любви на земле».

Я низко поклонился старой даме и горячо поцеловал протянутую ею мне руку. И эта рука, как рука Андреевой, была тонкая и дружеская. Но форма её была почти совершенной и говорила о том, что она скорее всего художница. И здесь моя догадка оказалась верной. Иллофиллион назвал её Беатой Скальради и сказал, что синьора Беата художница, итальянка, получающая награды за свои работы почти на всех выставках мира. Её картины присутствуют в картинных галереях столиц многих стран мира. Пока меня представляли ещё нескольким дамам, имена которых не удержались в моей памяти из-за того, что я был так поглощён впечатлением, которое на меня произвела художница, из боковой аллеи к нам подошёл худощавый человек с немолодым, измождённым лицом аскета. Он, очевидно, спешил к Иллофиллиону. Швед Освальд Растен шепнул мне, что это один из крупнейших

пианистов и композиторов мира, русский, Сергей Аннинов. Пока обе знаменитости шли рядом с Иллофиллионом, возглавляя нашу группу, Жером Манюле сказал мне:

— Сергей Аннинов живёт не в Общине, а в одном из маленьких домиков в парке. Али предоставляет ему не первый раз отдых здесь. Он очень нервен и приходит сюда довольно редко. Но когда он играет по вечерам, он разрешает всем желающим не только слушать его, но и заказывать ему любые пьесы. И как же он играет! Лучше ничего себе представить нельзя.

И синьора Скальради, и Аннинов сели за наш стол. Я не принимал никакого участия в общем разговоре. Сидя поодаль, я вглядывался в лица новых знакомых. Художница нравилась мне всё больше и больше. Её итальянская певучая и медлительная речь напомнила мне то, как однажды Флорентиец изобразил мне манеру речи его соотечественников. Эта речь не была похожа на быструю скороговорку обеих синьор Гальдони, которых я едва понимал. У синьоры Беаты я разбирал каждое слово, что ещё больше располагало меня к ней. Но Аннинов оставался для меня загадкой. Его аскетическое лицо, изрезанное морщинами, живые глаза, резкие движения, выражение какого-то протеста на лице, точно возмущение против чего-то, что его давило, — всё казалось мне таким далёким от гармонии, что снова я вспомнил Али, но теперь уже слова изречения, начертанного на стене в его комнате, загорелись в моей памяти: «Сила-Любовь рождает человека и рождается в нём тогда, когда в нём созревает гармония».

Я рассуждал сам с собой, что если он дивный, известный всему миру музыкант, то он должен творить в гармонии. Иначе ни его произведения, ни его исполнение не покорили бы мир. А разве это лицо может быть хотя бы спокойным?

Аннинов внезапно умолк, взгляд его улетел куда-то в пространство, морщины на лице разгладились. Выражение мудрости разлилось по его лицу, он как бы вслушивался во что-то не слышимое другим. Глаза его ярко загорелись, на бледных щеках заиграл румянец. Он вдруг стал совершенно неузнаваем и прекрасен.

— Простите, мой дорогой, до завтра. Я слышу, что меня зовёт моя муза. Вы вдохновили меня, я бегу писать. Приходите завтра вечером и приводите своих друзей. Я сыграю вам то, что сейчас шепнула мне моя муза Гармония.

И Аннинов, проговорив торопливо эти слова и отставив чашку недопитого чая, быстро вышел из столовой.

Я сидел в самом глубоком состоянии «ловиворонства» и не мог оторвать глаз от двери, в которой исчез музыкант.

— Ну что же, шило-граф, — раздалось возле меня, и чья-то пудовая, как мне показалось, рука легла мне на плечо. — Я ведь говорила вам, что не надо

упреждать событий. Гораздо лучше было бы пособирать дыни, чем резать шилами тончайшую материю. Вот вам дыня — первый сорт. И каждый кусок её прибавляет пуд мудрости.

Андреева продолжала держать руку на моём плече, я изнемогал под её тяжестью, даже пот покатился у меня со лба, ещё бы минуту — и я, несомненно, упал бы в обморок. Я уже начинал чувствовать тошноту и головокружение. Но тут Иллофиллион очутился подле меня, его нежная рука уже обнимала меня, он подносил к моим губам чашку.

— Лёвушка ещё не совсем окреп после тяжёлой болезни, Наталия Владимировна. Он не может ещё и не должен принимать ударов вашей силы. Вы же не всегда умеете защитить человека от тяжести ваших вибраций. Сегодня уже второй случай вашей неосторожности. Леди Бердран пришлось лечь в постель.

Голос Иллофиллиона был тих и мягок. Но мне чудилось, что Андрееву он бил тяжелее, чем давило меня воздействие её руки минуту назад. Мне стало так жалко её, что я ухватился за руку Иллофиллиона и сказал ей:

— Мне теперь уже совсем хорошо, Наталия Владимировна. Виновата вовсе не ваша рука, а дервишская шапка, которую Али однажды напялил мне на голову. Я тогда заболел и с тех пор не могу ещё окончательно поправиться. Простите меня, пожалуйста, за причинённое вам беспокойство. Я буду рад поумнеть от вашей дыни.

— Дитя моё, прости, дружок, — тихо и ласково сказала Андреева, и я снова чуть не впал в «ловиворонство». Я и представить себе не мог, чтобы властный, резковатый, с повелительными интонациями голос этой женщины мог быть таким ласковым, мелодичным и непередаваемо добрым.

Всё же довольно долго я не мог ещё встать на ноги, и добраться до дому с помощью Иллофиллиона было задачей нелёгкой.

Ясса продержал меня в ванне довольно долго, растёр и уложил в постель. Я выпил капель, данных Иллофиллионом, и был огорчён, что первый день моей жизни в Общине закончился для меня довольно печально.

ГЛАВА 2

ВТОРОЙ ДЕНЬ В ОБЩИНЕ. МЫ НАВЕЩАЕМ КАРЛИКА. ПОДАРКИ АРАБА. ФРАНЦИСК

Заснув с вечера с большим трудом, я проспал всю ночь так крепко, что ни разу не просыпался вплоть до утра, когда Ясса разбудил меня, сказав, что Иллофиллион уже поджидает меня, чтобы идти купаться.

Едва открыв глаза и сразу же впившись взглядом в чудесный пейзаж за окном, я с трудом сообразил, где нахожусь. Из-за нашего длительного путешествия, превратившегося для меня в привычный образ жизни, я привык считать, что каждый день — это только своего рода поход. А в эту минуту я сразу осознал, что приехал сюда надолго, что я наконец дома. Быстро надевая свой более чем несложный наряд, я ясно отдавал себе отчёт, что не могу и не должен терять ни минуты попусту, в бездействии. Между тем за весь вчерашний день я ничего не приобрёл, если не считать весьма скромных познаний из области ботаники, и ровно ничего не выполнил из своих обетов по изучению восточных языков.

Перед моим мысленным взором отчётливо стояло изречение, начертанное на стене в комнате Али. Стоило мне только сосредоточиться на нём, как всего меня наполняло чувство радости, что язык пали станет мне ключом к тем откровениям, которые были написаны на стенах комнаты Али. Желание поскорее начать учиться настолько овладело мною, что я ворвался бурей в комнату к Иллофиллиону, который что-то писал, сидя за столом, и выпалил сразу:

— Иллофиллион, дорогой, я уже весь вчерашний день потерял зря! Дайте мне, пожалуйста, скорее книги, чтобы я мог начать учить необходимые мне восточные языки. Прежде всего, конечно, пали, а потом и остальные. Брат Николай говорил мне, что у меня есть способности к языкам. Я тогда,

правда, не болел так много, но, может быть, мои филологические способности не исчезли. Дайте мне только поскорее книги!

Иллофиллион спокойно положил перо на стол, посмотрел, улыбаясь, на мои волосы, которые я забыл причесать, на небрежно подвязанные сандалии и ответил:

— Твоё прилежание очень похвально, Лёвушка. Но кто же тебя освободил от самых элементарных обязанностей быта, в условностях которого ты живёшь сейчас на земле? Твоя голова растрёпана, ты наступаешь на тесёмки своих сандалий при ходьбе, и почему встречающиеся тебе люди должны страдать в своих эстетических чувствах, натываясь среди такой дивной красоты природы на неряшливо одетое, непричёсанное существо?

В твоей комнате стоит большое зеркало не для того, чтобы ты проходил мимо него, а для того, чтобы ты выходил из своего дома на люди, приведя в полный порядок свою внешность. Это первая из условностей, от которой тебя никто не освобождал. Не о себе ты должен думать, поправляя перед зеркалом складки своей одежды, но о людях, для которых твоя внешность может быть предметом раздражения, если твоя неряшливость режет им взгляд или ты смешон в своей одежде. Запомни, друг, что в нищету впадают чаще всего неряшливые. И даже людям, высоко развитым духовно, неряшливость мешает продвигаться вперёд в их духовном пути. Всякая неприбранная комната отвратительна высоко развитому и чистому человеку.

Вторая условность — обязательное приветствие, слово «здравствуй», которое говорят люди друг другу. Кто же освободил тебя от этой общепринятой вежливости в Общине? Здесь ты ещё глубже должен понять это слово как привет любви, как поклон огню и Свету в человеке. Это не только простая условность внешней вежливости для тебя, но основа твоего собственного доброжелательства, которое ты проявляешь к человеку в момент встречи с ним. Начинать, мой дорогой друг, во все привычные людям условности их общения вносить своё высокое благородство. Становись каналом духовности для людей, общаясь с ними в тех формах, которые не отталкивают их и не затрудняют им восприятие твоего образа, а, наоборот, привлекают их к тебе.

Мне было очень совестно за моё легкомыслие. Я взглянул на себя в зеркало и совсем переконфузился. Мои непричёсанные отросшие кудри торчали во все стороны и в сочетании с длинной белой одеждой, надетой и подпоясанной мной наспех и кое-как, делали меня похожим на юродивого. Я подумал об Иллофиллионе, к которому ворвался вихрем, не постучавшись и даже не извинившись, что помешал ему заниматься, и сразу осознал, как эгоистические мысли о себе одном закрыли всё, что меня окружало. Мне что-то понадобилось, я сорвался в погоню за ним, а что делалось вокруг —

до того и дела было мало. Я готов был уже броситься вон из комнаты, совершенно расстроенный, как ласковая рука Иллофиллиона меня обняла.

— Не спеши сейчас огорчаться, Лёвушка, подобно тому, как ты минуту назад спешил за книгами, забыв всё на свете. Чтобы победить и добиться чего-то серьёзного, надо уметь *видеть* каждую минуту всё, что тебя окружает, а не выключаться из окружающих условий, осознавая один лишь узкий сектор своих собственных действий и рассматривая мир только с высоты своей колокольни, своего личного «я». Люди идут к совершенствованию разными путями, но ступени духовного развития у всех одни и те же. Здесь, в Общине, с первых же дней обрати внимание на неизменную вежливость в отношениях между людьми. Ты и здесь встретишь немало тех, кто покажется тебе и грубоватыми, и чудаковатыми. Но на это не устремляй внимания, а помни, что твой путь сейчас — это путь такта и обаяния. И чтобы их достичь, тебе надо развить в себе вежливость и спокойствие, сделать их своей неизменной привычкой.

Иди, мой дорогой, наведи красоту и приходи через десять минут. Я закончу письмо, и мы пойдём купаться.

Я убежал к себе, но теперь уже так не доверял своим эстетическим предпочтениям, что вызвал Яссу и попросил его оглядеть меня с головы до ног.

— Ясса, миленький, я очень неуравновешенный человек. Не выпускайте меня из комнаты, пока не осмотрите меня хорошенько. Я никак не постигну, как завязываются эти сандалии, — молил я моего доброго слугу.

Ясса подал мне другие, закрытые сандалии, говоря, что в них не проникает пыль, да и застегнуть в них надо только две пуговицы. Он обещал мне упростить завязки в другой обуви, мигом подпоясал меня красивым узким поясом и уверил, что теперь я причёсан и одет как самый настоящий кавалер. Поблагодарив его, я вздохнул, мысленно пожаловался кому-то, что вчера плохо закончил, а сегодня так же плохо начал мой день, — и постучал в дверь к Иллофиллиону.

Через минуту мы уже шли к озеру, накинув на головы махровые простыни. Хотя я вчера уже проходил по этой дороге, и встречавшиеся пальмы, магнолии, лимоны и апельсины, бамбуки и гигантские тополя, кедры и платаны — всё было уже мне знакомо, но тем не менее я никак не мог полностью осознать, что передо мной сама живая жизнь, а не могучая декорация. Наше купание прошло без всяких помех и неожиданных встреч.

— Не хочешь ли, Лёвушка, пройти со мной к нескольким больным, которых Кастанда просил меня навестить? Это недалеко, сейчас ещё рано, мы успеем вовремя вернуться к завтраку.

Я, разумеется, был очень рад и счастлив быть с Иллофиллионом всюду, где ему угодно, и, кроме того, стремился узнать новые места. Мы перешли

через мост речку повыше озера и углубились по дорожке не в парк, а в самый настоящий лес. Но лес этот был совсем не похож на то, что я до сих пор привык называть этим словом. Стволы высоченных, толстенных деревьев, где ветви равнялись хорошей русской сосне или многолетней ели по своему объёму, держали на себе такие тенистые кроны, что на дорожке, по которой мы шли, было совсем темно. Местами лианы совсем сплетались такими плотными цветущими гирляндами, что образовывали непроницаемые завесы. Здесь было прохладно, как в гроте, даже сыровато. Я уже хотел сказать Иллофиллиону, что, вероятно, такие леса полны тигров и шакалов, как дорожка перед нами сразу просветлела, расширилась и превратилась в большую круглую поляну. На ней стояло несколько белых домиков, похожих на украинские мазанки, как мне показалось сначала. Но подойдя ближе, я увидел, что они сложены из шершавого камня, пористого, с блестящими кристаллами, очень мелкими. Когда на стены этих домов падал луч солнца, они напоминали вату, обсыпанную бертолетовой солью, которую кладут под детскими новогодними ёлками.

Навстречу нам вышла женщина лет сорока, крупная, довольно миловидная, в белой косынке, белом платье и таком же полотняном переднике, на котором был нашит широкий красный крест.

— Здравствуйте, сестра Александра! Кастанда просил меня проведать вашего больного, которого сюда доставили вчера. Дали ли вы ему лекарство, которое я вам послал?

— Да, доктор Иллофиллион. Бедняжка успокоился и заснул после вторичного приёма. Раны я ему слегка перевязала, как вы приказали.

Сестра Александра провела нас в самый отдалённый домик. В чистой просторной комнате стояло несколько белоснежных детских кроваток, но занята была только одна, и возле неё сидела тоненькая девушка небольшого роста, в такой же точно одежде, как и сестра Александра.

— Это наша новенькая сестра, только что окончившая курсы сестёр милосердия. — И сестра Александра представила нам очаровательное существо. — Сестра Алдаз — индуска, она умудрилась своими способностями покорить даже нашего милого старого ворчуна — директора курсов, не говоря уже обо всех преподавателях.

Алдаз посмотрела на нас своими тёмными глазами, большими, светящимися, и напомнила мне икону греческой царевны Евпраксии, которую я видел в одной из древних церквей и которой долго любовался.

Мы подошли к детской кроватке, на которой я ожидал увидеть ребёнка, искусанного собакой, судя по предшествующему разговору.

Каково же было моё удивление, когда на кроватке я увидел спящим маленького сморщенного... карлика! Он был такой сморщенный и несчаст-

ный, что я, разумеется, словиворонил, да так и застыл. Я, должно быть, представлял собой преуморительное зрелище, потому что Алдаз, случайно оглянувшись на меня, не смогла сдержатъ смеха, и он зазвенел на всю комнату. Сестра Александра строго взглянула на Алдаз, но, увидев моё изумлённое лицо, и сама едва удержалась от смеха.

Смех Алдаз разбудил карлика. Он открыл свои маленькие глазки, и я ещё раз превратился в соляной столб. Глаза карлика были красного цвета, точно два горящих уголька.

Иллофиллион, точно не видя ничего и никого, кроме своего пациента, наклонился над карликом, боязливо на него смотревшим. Иллофиллион сказал ему несколько слов, показавшихся мне очень странно звучащими. Вот и ещё один язык, которого я не понимал и который, вероятно, тоже надо было выучить. Если здесь живут несколько родов карликов, да ещё несколько сект индусов, наречия у которых все разные, то, пожалуй, мне не догнать Иллофиллиона даже в знании языков.

Занятый этой мыслью, я отвлекся вниманием от больного, а когда я снова посмотрел на него, то еле удержал крик ужаса. На маленьком обнажённом теле зияли три раны. Одна тянулась от бедра до самого колена, вторая — от горла до живота и третья — от ключицы до локтя. Плоть на этих местах была вырвана, точно чьи-то когти её терзали. Иллофиллион дал несчастному пилюлю и капли. Обе сестры поддерживали тело маленького страдальца, а мне Иллофиллион велел поддержать его голову, которая падала от слабости. Облив какой-то шипящей жидкостью развороченные раны, Иллофиллион ловко наложил повязки. Очевидно, карлик не страдал от прикосновения его нежных рук. Он немного окреп и дружески улыбнулся своему доктору. Когда его положили в другую кровать, у окна, чтобы он мог любоваться видом поляны, он радостно поднял здоровую руку и, показывая её на Алдаз, что-то сказал Иллофиллиону на смешном наречии, в котором было много щёлкающих звуков. На этот раз я не обеспокоился своей невежественностью, так как обе сестры, как и я, не поняли ни слова из сказанного им и с удивлением смотрели на Иллофиллиона.

Он объяснил сёстрам, что больной просит, чтобы весёлый колокольчик, как он прозвал Алдаз, не уходила от него. Иллофиллион приказал сейчас же напоить больного тёплым молоком с бисквитами и обратился ко мне:

— Сможешь ли ты найти сюда дорогу, чтобы после завтрака принести этому бедняжке лекарство? Или, если думаешь, что тебя съедят в лесу тигры, мне надо поискать другой способ доставки?

— Смогу найти дорогу и уже понял, что тигров здесь нет.

Я внутренне надулся: зачем Иллофиллион смеётся надо мной в присутствии очаровательной Алдаз? Но Алдаз была вся поглощена тем, как разве-

селить больного, шебетала ему что-то, чего он не понимал, но интонация её голоса, выражавшего ласковое женское сострадание, доходила до его сердца.

— Очень хорошо, Лёвушка. Через два часа, сестра Александра, мой друг Лёвушка принесёт вам новое лекарство. Вы его смешаете с молоком и мёдом и будете давать через каждые полчаса по четверти маленького стакана. Кроме шоколада, бисквитов, киселя и молока — никакой пищи. К вечеру я снова зайду. Если будет обострение болезненности, дайте снова вчерашнее лекарство.

Мы подошли к карлику, он протянул нам свою крошечную, горевшую от жара ручку, потом преуморительно приставил крохотный пальчик ко лбу и сказал: «Макса». Он вопросительно уставился на меня своими красными хитрыми глазками. Иллофиллион перевёл мне его слово и жест. Он спрашивал, как меня зовут, и объяснил, что его зовут Макса. Иллофиллион велел мне приставить так же палец ко лбу и сказать ему моё имя. Когда я в точности всё исполнил и карлик узнал, что меня зовут Лёвущкой, он по-детски засмеялся, что-то залопотал и защёлкал, что Иллофиллион снова перевёл мне как изъявление его дружбы и удовольствия.

Когда мы шли назад, хотя я и был уверен, что найду сюда дорогу самостоятельно, всё же старался внимательно запоминать все повороты тропинки.

— Я задержался здесь дольше, чем предполагал, и уже не успею навестить других своих пациентов до завтрака. Хочешь ли ты, Лёвушка, быстро позавтракать и сходить вместе со мной ещё к двум больным? А затем ты мог бы отнести лекарство Максе. Или предпочитаешь это время просидеть за книгами?

У Иллофиллиона был совершенно серьёзный вид, и никакой искорки юмора не сверкало в его глазах.

— Дорогой мой, родной Иллофиллион! Если только мне можно быть вместе с вами, возьмите меня с собой. Я, правда, мало чем могу помогать вам, но разрешите мне быть хотя бы вашим посыльным или носильщиком. Я хочу совершенствоваться во время своей жизни здесь так, как вы видите и знаете. Если я так жажду учиться, то ведь только для того, чтобы скорее стать более достойным вас.

— Ты совершенствуешься, Лёвушка, очень быстро, быстрее, чем возможно для твоего организма. И только поэтому я тебя немного придерживаю. Хотя мы с тобой только что купались, но после этого больного надо и душ принять, и одежду сменить, прежде чем посещать общую столовую. Я тебе сегодня же расскажу, в чём здесь дело и кто такой Макса.

Пока Иллофиллион принимал душ, я стоял на балконе и издали видел, как женские фигуры, прикрытые длинными простынями, двигались под го-

рячим солнцем к купальням. Жара сегодня мне показалась сильнее вчерашней, и я думал, предвкушая удовольствие, как пойду тенистым, прекрасным лесом и увижу не менее прекрасную Алдаз. Наконец, приведя себя в порядок после душа особенно тщательно и подвергшись осмотру Яссы, я решил спуститься вниз, где слышался голос Иллофиллиона.

Когда мы вошли в утреннюю столовую, все уже рассаживались по местам. К нам подошёл, торопясь, Кастанда, спросил о самочувствии Максы и прибавил ещё одну просьбу: посетить Аннинова. Его слуга приходил и сказал Кастанде, что ночью у его господина был сильный сердечный приступ.

За соседним столом я увидел снова Андрееву и Ольденкотта, место же леди Бердран было пусто. Рядом с пленившей меня художницей Скальради я увидел новое лицо. И лицо это немедленно завладело всем моим вниманием. Человек, сидевший возле художницы, не был красавцем. Но где бы он ни был, кто бы его ни окружал — повсюду он был бы замечен.

При его высоком росте он был сложен исключительно пропорционально. У него были тёмные волосы с проседью, чёрные брови, большие голубые глаза с длинными чёрными ресницами, красиво очерченный рот и безукоризненные зубы, хорошо видные при его часто мелькавшей улыбке. Во всех его движениях, в манере слушать собеседника, в красивых руках — во всём чувствовалось изысканное благородство. Что-то особенно меня в нём поразило. Человек этот держал себя просто, очевидно, он привык привлекать к себе внимание и нисколько этим не смущался, но я ясно видел, что он скромен, добр, умен и нисколько не горделив.

Несколько раз он посмотрел на Иллофиллиона. Я понял, что он знает, кто такой Иллофиллион, но пока ещё не познакомился с ним. Сидевший рядом со мною Альвер шепнул мне, что это один из знаменитейших артистов, имя которого знает весь мир, — Станислав Бронский, чех.

Мне казалось, что Бронский, с такой любезностью и вежливостью разговаривавший со своими соседями, всё чаще бросает взгляды на Иллофиллиона, и к концу завтрака мне даже показалось, что на его подвижном и выразительном лице мелькало беспокойство. И я не ошибся. Когда мы закончили завтрак и уже выходили, за нами послышались ускоренные шаги Кастанды, который, нагнав нас, попросил Иллофиллиона остановиться на минуту. Кастанда извинился, что так много беспокоит Иллофиллиона с самого вчерашнего вечера.

— Вы, конечно, не могли не заметить за столом новое для вас лицо, доктор Иллофиллион. Это артист Бронский, его прислал сюда Флорентиец. У него есть письмо к вам, и он заранее был извещён, что вы приедете на этих днях. Он пришёл сюда из дальних домов Общины, вернее, примчался на

мехари¹ с одним арабом-проводником и со своим учеником, тоже артистом. Бронский просил меня познакомить его с вами. Я обещал ему сделать это тотчас же после завтрака. Но вторичный посланник от Аннинова меня задержал. У Аннинова был второй приступ. Кроме того, леди Бердран чувствует себя так же плохо. Андреева ухаживает за нею очень прилежно, но дело не продвигается. Вдобавок и ученик Бронского заболел, выкупавшись в нижнем озере после путешествия по жару. Я даже не знаю, о ком просить вас раньше.

У Кастанды был довольно утомлённый вид. Я подумал, что он чем-то сильно обеспокоен и, вероятно, не спал ночь. Он с мольбой смотрел на Иллофиллиона, очевидно чего-то недоговаривая, но старался не выказывать своего беспокойства.

— Не волнуйтесь, Кастанда, прежде всего познакомьте меня с Бронским, так как его очень тревожит здоровье друга. Затем я навещу леди Бердран, а потом уже пойду к Аннинову. Вы отпустите слугу пианиста, дайте ему для больного вот эти капли, пусть Аннинов примет их на сахаре и ждёт меня. Здесь как раз доза на один приём. При темпераменте Аннинова ему нельзя доверять самостоятельного лечения, он выпьет всю порцию лекарства сразу, а потом будет удивляться, что оказался из-за этого в состоянии полусмерти.

Иллофиллион подал Кастанде такой крошечный пузырёк, что, сопоставив его с огромным ростом музыканта и его громаднейшей рукой, я невольно заулыбался.

Мы повернули обратно, увидели стоящих у окна Бронского и Скальради, и я поразился, как печально было лицо артиста. Минуту назад, полное жизни и энергии, оно было бледно и выражало страдание. Он всё так же любезно слушал свою собеседницу, но взгляд его погас, точно его постигла внезапная неудача в чём-то.

Увидев, что мы подходим к нему, Бронский снова ожил, румянец разлился по его лицу, глаза загорелись, на губах мелькнула улыбка. Он сделал несколько шагов нам навстречу, низко поклонился Иллофиллиону и крепко, обеими руками, пожал его руку, протянутую ему.

— Вы беспредельно любезны, доктор Иллофиллион. Не нарушила ли моя просьба распорядок вашего дня? Я так счастлив познакомиться с вами, но счастье моё было бы омрачено, если бы я вам в чём-либо помешал.

Голос Бронского был довольно низкий, металлический, в его произношении шипящих букв была чуть заметная подчёркнутость, что придавало его манере говорить неподражаемое своеобразие, не нарушая её особого очарования.

¹ Мехари — род быстроходных верблюдов, используемых для верховой езды. — Прим. ред.

Я смотрел и поражался, какая масса обаяния была в этом человеке! Белая индусская одежда очень ему шла, я так и представлял себе его верхом на мехари в бедуинском плаще. Вот была бы модель для художника! По обыкновению, я зазевался и опомнился от голоса Иллофиллиона, который говорил:

— Это мой друг — Лёвущка. Он писатель. Вы его простите за рассеянность. Держу пари, что он уже нарисовал ваш портрет в своём воображении, ввёл вас в какую-нибудь картину и забыл, где он и что с ним.

Бронский протянул мне обе руки, улыбаясь и говоря, что сам страдает такой же живой фантазией, часто ставящей его в неловкое положение, потому что он теряет нить разговора. Я радостно ответил на его крепкое пожатие и сказал, смеясь:

— Это правда, я представил себе вас мчащимся на мехари через пустыню в бедуинском плаще и мечтал, чтобы вас так нарисовал какой-нибудь художник. Что касается вашего любезного высказывания по поводу вашей и моей фантазии, то тут мне сравнения не выдержать. Я создаю свои фантазийные образы бесплодно. Вы же превращаете их в жизнь и всему миру преподносите через себя красоту и высокое благородство. Я преклоняюсь перед вашей энергией и трудоспособностью, о которых мне рассказывали.

— Тот, подле которого вы сейчас находитесь, не мог бы назвать вас другом, если бы не видел в вас творческой силы. В ваши годы я ничего ещё не сделал, а вы уже написали прекрасный рассказ, который я читал.

Иллофиллион отправил меня за аптечкой и просил Альвера проводить меня в тот домик, где жила леди Бердран. Когда мы с Альвером, взяв аптечку, вошли в холл домика, где жили Андреева и леди Бердран, мы увидели там Иллофиллиона, Бронского и Кастанду, беседующих с Наталией Владимировной.

— Нет, дело так не пойдёт на лад, Наталия Владимировна. Леди Бердран только потому и больна, что вы постоянно находитесь с нею и она не может приспособиться к вашим вибрациям. Вы похожи на холодное озеро, и к вам подходить близко могут только очень закалённые люди. Ваш способ лечения не только нельзя применять к леди Бердран, но и ухаживать вам за нею пока не следует.

Иллофиллион говорил улыбаясь, но в серьёзности его слов никто не мог сомневаться. Андреева казалась не то опечаленной, не то недоумевающей и недовольной.

— Неужели вы находите, Иллофиллион, что Ольденкотт, который считает своей обязанностью не отходить от меня чуть ли не в течение всего дня, так закалён против моих вибраций? Однако же он не болен? — сказала Андреева не очень спокойно, но, очевидно, сдерживая свой темперамент.

— О да, мистер Ольденкотт так сильно закалён своей бронёй доброты и чистоты, что никакие вибрации — даже много сильнее ваших — ему не страшны.

Бронский молча наблюдал всё происходившее вокруг. Мне было совершенно ясно, что он хотел попросить Иллофиллиона навестить его друга, но не решался, как вдруг Иллофиллион сам обратился к нему:

— Я попрошу вас подождать меня здесь. Отсюда мы пройдем прямо к вашему ученику. Вам же, Наталия Владимировна, на десять дней запрещаю посещать леди Бердран.

Иллофиллион сделал мне знак следовать за ним, и, провожаемые Кастандой, мы прошли в самый конец коридора, поднялись по винтовой лестнице на второй этаж и постучались в одну из крайних дверей. Дверь нам открыла молоденькая девушка-туземка в холщовом белом платье, какие я уже видел на сёстрах милосердия, но без косынки на голове и с очень небольшим крестом, нашитым на переднике. Она оказалась ученицей курсов сестёр милосердия, несущей дежурство.

Леди Бердран была очень слаба и едва смогла открыть глаза, когда мы с Иллофиллионом вошли к ней. Кастанду Иллофиллион отпустил ещё в коридоре, сказав, что дальше мы обойдёмся без него.

Больная лежала на диване в белом халате и была так бледна, что казалась привидением. Иллофиллион осторожно приподнял её в сидячее положение и сказал что-то сестре на туземном языке. Та сейчас же вышла из комнаты. Мне же Иллофиллион велел сделать смесь из содержимого нескольких пузырьков и сам накапал туда ещё чего-то из аптечки Флорентийца. Капли закипели, я приподнял голову больной, а Иллофиллион влил ей в рот лекарство. Оно не понравилось леди Бердран. Она застонала, почти вскрикнула, чем так меня напугала, что я едва не уронил её прелестную головку.

— Будь осторожен, друг, мы успели вовремя. Сейчас у неё будут судороги, но благодаря лекарству они не будут смертельными. Держи теперь крепко обе её руки, я придержу ноги, это не продлится долго.

Я едва мог удержать руки больной, которая вырывала их с такой силой, какой можно было ожидать, пожалуй, от мужчины. Пот лил с меня градом, мне казалось, что я уже не удержу рвущихся рук, но вскоре напряжение судорог ослабло, и Иллофиллион велел мне оставить руки больной. Я опустился на стул в таком состоянии, точно несколько часов подряд рубил дрова. Иллофиллион взял руку леди Бердран и спросил:

— Как вы сейчас себя чувствуете?

Леди Бердран открыла глаза, с удивлением посмотрела на Иллофиллиона и на меня, улыбнулась и ответила:

— Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Но минуту назад мне казалось, что я умираю. Да и все эти дни у меня было такое ощущение, точно из меня уходит жизненная сила. Особенно когда добрая Наталия Владимировна бывала рядом со мной, у меня кружилась голова и мне казалось, что все мои силы тянутся к ней. Я знаю, что это моя чистейшая фантазия, но иначе я не умею описать вам моё состояние.

— Если бы я предложил вам временно переселиться в тот корпус, где живём мы с Лёвущкой? Там есть отличная отдельная северная комната, и мне было бы удобно наблюдать за вами. Согласны ли вы перебраться туда?

На её лице, и так всегда печальном, появилось выражение крайнего замешательства. Она ответила не сразу, очевидно борясь с чем-то и не решаясь высказаться.

— Я очень бы хотела исполнить ваше желание. Но я думаю, что это очень огорчит Наталию Владимировну, которая так ко мне добра, так много для меня сделала и помогла мне приехать сюда. Я не могу решиться принести ей огорчение. Я и без того приношу всем, кто сближается со мной, одни несчастья.

По её лицу скатились две крупных слезы, и, видя её страдания, я всей силой мысли припал к Флорентийцу, моля его помочь и послать мне силы не разрыдаться.

— Предоставьте мне всё уладить. Я уже до прихода к вам объяснил Наталии Владимировне, что вас надо очень закалить для того, чтобы общение с нею, с её мощными вибрациями, не истощало вас. Вы скажите только, желаете ли довериться мне и пройти короткий курс лечения под моим наблюдением?

— Не только желаю, но умоляю вас помочь мне, доктор Иллофиллион. Я с самой встречи с Наталией Владимировной поняла, что со мной происходит что-то неладное. Но в последнее время я стала ясно сознавать, что умираю, — со слезами в голосе сказала леди Бердран.

— Ну, до этого ещё далеко, а закалить ваш организм и двинуть вас к систематическому знанию, как закаляться дальше самой, — это необходимо.

В эту минуту возвратилась сестра и, вероятно, доложила Иллофиллиону, что прибыли слуги с носилками. Это я понял потому, что через открытую дверь она показала на нечто вроде паланкина, который стоял в коридоре. Иллофиллион сам поднял больную и усадил её в полотняный паланкин, где всю её обложили подушками. Носильщики перенесли паланкин с больной в наш дом. Немедленно был отыскан Кастанда, больная была помещена в комнату, находящуюся под нами, этажом ниже, и Иллофиллион отдал самые строгие распоряжения о её диете и о том, чтобы к ней решительно никого не пускали. После этого мы помчались обратно в холл, где ждал нас

Бронский, беседуя с Ольденкоттом. Домик, в котором сейчас жил Бронский, был довольно далеко от нас, но зато очень близко к дому Аннинова.

Войдя в комнату ученика и друга Бронского, мы увидели, как мне показалось, на вид не очень молодого человека, брюнета, похожего на грузина, но на деле он оказался румыном. Присмотревшись внимательно, я понял, что человек этот молод, но чрезвычайно истощён. Он лежал, что-то бормоча.

— Отчего вы позволили вашему другу, разгорячённому, опалённому зноем, броситься в холодное озеро? Ведь вы сами не только не сделали этого, но даже мылись в тёплой ванне.

— Я умолял Игоро не делать этого. Но румыны вообще упрямы и думают, что лучше понимают потребности своей природы. К тому же мать Игоро — венгерская цыганка; она приучила его с детства к постоянной смене холода и зноя. Он никогда не болел за всё время нашего знакомства. Насколько мне всегда приходилось думать о своём здоровье, настолько же мой друг мог относиться к себе самым легкомысленным образом, и при этом у него никогда не возникало проблем с самочувствием. Поэтому-то я так и обеспокоен сейчас его болезнью.

— Да, он очень, очень болен. И если и выздоровеет, то не скоро. Вам придётся или оставить его здесь на моё попечение, или же остаться самому вместе с ним на долгое время, не меньше года, — осматривая больного, говорил Иллофилион. — Я понимаю, что вам необходимо возвратиться к вашей деятельности. У вас, по всей вероятности, целый ряд контрактов в разных городах мира. Но о здоровье друга вы можете не беспокоиться, мы с Лёвшушкой его выходим. И через год он вернётся к вам.

— Я не покину друга в беде, доктор Иллофилион. Я знаю, что буду мало полезен, и хорошо понимаю, какое счастье для моего друга встреча с вами. Но и для меня встреча с вами в данную минуту жизни важнее всех дел и контрактов, важнее самого искусства, ради которого я и жил до сих пор. Я уеду отсюда только в том случае, если вы меня выгоните. Я вас умоляю, не отправляйте меня отсюда, прочтите письмо того человека, которого я случайно встретил в Лондоне несколько месяцев тому назад. Он после долгого разговора в моей уборной в театре, когда я играл Отелло, дал мне письмо к вам, назвав себя Флорентийцем, хорошо вам известным. Он же объяснил мне дорогу сюда и дал в провозатые своего слугу, когда я — ни минуты не размышляя — решил ехать к вам сюда. Игоро не отпустил меня одного. И когда я познакомил с ним Флорентийца, сказав ему, что друг мой желает меня сопровождать, Флорентиец долго-долго смотрел на него, а потом сказал: «Ну, быть тому. Но помните, что я его с вами не посылаю. Вы можете его взять на свой страх и риск». Мне очень не хотелось, чтобы Игоро ехал со мной. Я всячески пытался его отговорить, но не сумел насто-

ять, как и вообще не умею нигде и ни в чём, кроме одного искусства, проявить свою волю. Только в нём я целостен и уверен до конца. Ему служу без компромиссов, и в нём никто и ничто не может сбить меня с моего пути, однажды понятого и принятого. Не отвергайте меня, — внезапно с тоской и мукой в голосе закончил свои слова Бронский.

Иллофилион быстро подошёл к нему, обнял его и ласково сказал:

— Не переживайте, мой друг и брат. Я с радостью принимаю вас в число моих учеников. Не волнуйтесь за вашего друга. Он выздоровеет, и характер его, так много тиранивший вас в жизни, очень изменится к лучшему. Но пострадать ему придётся немало, так как не только все корешки нервов у него воспалены, но и вся нервная система нарушена из-за недопустимой разницы температур, к которым он был одинаково непривычен, несмотря на кажущуюся эффективность закалывания, к которому приучала его мать.

Иллофилион приготовил лекарство, с моей и Бронского помощью влил его в рот больному, растёр его тело чем-то невыносимо остро пахнувшим и снова сказал артисту:

— Сейчас ваша помощь здесь совершенно не нужна. Больной будет долго спать, а потом всё равно никого узнавать не будет. У него род тифозной горячки, но на самом деле это только последствие ужасающей встряски всего организма, которая могла бы окончиться для него безумием, если бы вы не встретили здесь меня.

Послав меня за дежурным медицинским работником, Иллофилион сказал Бронскому, чтобы он захватил войлочную шляпу и махровое полотенце в своей комнате и ждал нас у выхода.

Я вернулся в комнату больного с братом милосердия. Иллофилион сделал Игорю укол довольно толстой иглой и, дав дежурному все указания, обещал через два часа прислать фельдшерицу. Мы собрали аптечку, тщательно вымыли руки и спустились вниз к ждавшему нас Бронскому.

Жара была уже очень сильная. Иллофилион нахлобучил мне шляпу и спустил вуаль, посоветовав сделать то же самое и своему новому ученику, и мы, перейдя несколько дорожек, очутились в доме Аннинова.

Всё в этом доме было какое-то особенное. Сразу же меня поразило, что из небольшой передней дверь выходила прямо в просторный белый зал, где посреди комнаты стоял белый рояль, а по стенам несколько диванов — жёстких и тоже белых. На тумбе из чёрного мрамора была какая-то небольшая статуя, показавшаяся мне сначала скульптурным портретом Данте. Потом я увидел, что это было изображение Будды.

Слуга провёл Иллофилиона через большой зал в следующую комнату, а мы с Бронским остались ждать в зале. Он стал мне рассказывать об Аннинове, его гениальности, успехе у публики и о его страданиях. Он давно

покинул родину, очень страдал от тоски по ней, но никогда туда не возвращался, скитаясь по всему свету. Бронский не знал, что заставило музыканта покинуть родину, так горячо им любимую. Но он был уверен, что главная причина его болезни сердца состояла в его постоянной тоске по ней.

Иллофиллион довольно долго пробыл у больного. Бронский, видя мой восторг при описании его впечатлений от встречи с Флорентийцем, и сам, очевидно, находясь под сильным влиянием мудрости и благородства моего высокого друга, рассказал мне подробно, как он был в особняке Флорентийца в Лондоне, встречал там моего брата и от него получил мой рассказ. Он видел также Наль и её подругу Алису, красотой которых был так поражён и восхищён, что до сих пор не знает, которая из них лучше. Бронский утверждал, что Алиса — это Дездемона, а Наль такая юная и вместе с тем столь величественная, что для неё он не находит имени в своём артистическом словаре. По словам артиста, такой женщины он ещё не видел и готов был бы заподозрить в преувеличении всех, кто ему рассказал бы об обитателях особняка Флорентийца.

— Я и сейчас порой спрашиваю себя, не во сне ли я видел этих людей. Возможно ли, чтобы такое количество красоты и доброты было собрано в одном месте Лондона? — Бронский задумался, точно куда-то уносясь мыслями, и тихо продолжал: — Когда я увидел Иллофиллиона входящим в столовую, я сразу понял, что это именно он, хотя никто мне этого не говорил. Помимо его исключительной красоты, в Иллофиллионе есть что-то, чего я не умею выразить, но что совершенно определённо напоминает мне Флорентийца. Что это, я ещё не понимаю, но это нечто такое, что никому, кроме этих двух людей, не свойственно. Много я повидал людей, и людей великих, но в Иллофиллионе и во Флорентийце что-то божественное — до того оно высоко — бросилось мне в глаза и поразило меня.

У двери послышались голоса, и в зал вошли Иллофиллион и Аннинов. На щеках музыканта горели пятна, очевидно, или у него был жар, или он пережил очень сильное волнение. Он приветливо поздоровался с нами, предложил нам фрукты и прохладительные напитки, но ни того, ни другого у нас просто не нашлось времени отведать.

— Итак, заканчивайте ваш труд, Сергей Константинович, и отложите концерт на несколько дней. С вашего разрешения, я приведу потом целую толпу народа, жаждущую послушать вас. Вы совершенно здоровы. А кроме того, вам ещё придётся помочь мне лечить вашей музыкой двух больных. Без музыки в данный момент их не вылечить. Мы с вами выработаем программу и, я надеюсь, вернём им разум, — прощаясь, говорил Иллофиллион.

Тут уж я был поражён до полного ловиворонства. Лечить музыкой? Так я и ушёл, не собрав мозгов, и, если бы не жара, стоял бы, наверное, на месте.

Но солнце жгло немилосердно даже сквозь вуаль, и Иллофиллион набросил мне на голову толстенное махровое полотенце Бронского, которое смочил в фонтане, чем привёл меня несколько в себя. Дома Иллофиллион велел мне полежать, пока он приготовит лекарство для Максы, а Бронского попросил разыскать Кастанду.

Едва я лёг, как мгновенно заснул. Мне показалось, что я спал бог знает как долго. На самом же деле оказалось, что проспал я не более двадцати минут, а отдохнул при этом чудесно. Иллофиллион разбудил меня, дал мне очень вкусное питьё, сказав, что теперь пить можно. Я взял микстуру для Максы, ещё какие-то лекарства для передачи сестре Александре и должен был привести с собой обратно сестру милосердия специально для Игорю. Я радовался, что сейчас пойду чудесным лесом. Напиток, который дал мне Иллофиллион, сделал меня малочувствительным к жаре. Мне хотелось побыть одному и подумать обо всём пережитом за эти дни. Но возвратился Бронский и, узнав, что я иду в незнакомое ему место, так умоляюще посмотрел на Иллофиллиона, что тот рассмеялся и, лукаво посмотрев на меня, сказал:

— Там у Лёвушки завелась зазнобушка, Алдаз! Если он решится на самопожертвование и возьмёт вас туда с собой, я буду рад. Для вас там найдётся много интересного, на что можно посмотреть.

— Лёвушка, я буду нем, как пень, услужлив, как раб, благодарен, как ребёнок. Возьмите меня.

Я даже подавился от смеха, такое необычайное выражение, вернее, целая гамма сменяющихся выражений промелькнула на его лице. Он выпрямился и громовым голосом, точно клятву на мече, выговорил:

— Буду нем, как пень. — Потом согнулся, точно весь сузился, точь-в-точь льстивый раб, и сахарным голосом произнёс: — Услужлив, как раб.

И вдруг, широко улыбнувшись, распустил все складки лица, только что сморщенного и подлизывающегося, и ясным детским голосом, наивно глядя мне в глаза, очаровательно шепелявя, сказал:

— Благодарен, как ребёнок.

Всё это было для меня так неожиданно, что я, разумеется, всё на свете забыл, бросился ему на шею и заявил, что теперь понимаю, почему он покори мир.

Всё ещё смеясь, мы пустились в путь к сестре Александре. Я хорошо запомнил дорогу, и хотя Бронский был таким увлекательным собеседником, что легко можно было впасть в рассеянность, я чувствовал себя вдвойне ответственным и перед Иллофиллионом, и перед моим новым знакомым, в котором так многое меня пленяло, и потому был всё время настороже и не перепутал ни одного поворота.

Макса ещё спал, а сестра Алдаз на ломаном русском языке, который едва можно было понять, с помощью жестов и мимики своего прелестного личика старалась объяснить мне, что бедный Макса очень страдает. Я обещал передать это Иллофиллиону и прибежать ещё раз к ней, если Иллофиллион даст для больного что-либо облегчающее.

Мы повидали сестру Александру, и она познакомила нас с сиделкой, которой она поручила ухаживать за Игорю; вместе с ней мы поспешили обратно. Во время моего разговора с Алдаз Бронский не спускал с неё глаз, и лицо его выражало нескрываемое восхищение. Взглянув на него после того, как мы вошли в лес, где я снова ожидал услышать его увлекательные рассказы, я увидел печальное, углублённое в себя лицо совсем нового человека. С ним произошла полная метаморфоза. На лице его отражалось какое-то мудрое спокойствие, нечто похожее на то выражение, которое я часто подмечал на лице брата Николая. Но на лице Бронского эта мудрость носила сейчас печать скорби.

Его высокий лоб прорезала морщина, глаза точно не видели ничего окружающего, губы были плотно сжаты, как будто бы он решал новую, внезапно вставшую перед ним проблему. Я не посмел нарушить его сосредоточенности и даже старался идти медленно и бесшумно, чтобы не мешать его мыслям. Я представлял себе, что именно таким мудрецом бывает Бронский, когда обдумывает наедине свои роли. Уже почти на опушке леса он вдруг глубоко вздохнул, провёл рукой по лицу и улыбнулся мне.

— Я так далеко был сейчас, Лёвушка. Иногда моя фантазия уносит меня от действительности, я впадаю в какую-то прострацию и рисую себе прошлое тех образов или людей, которых мне надо изобразить на сцене, или же тех живых людей, которые произвели на меня глубокое впечатление. Прав я или нет в своих сценических образах — о том судить людям, так или иначе воспринимающим созданные мною образы. Но самое странное в игре моего воображения — это то, что в реальном прошлом живых людей, если только они меня целиком захватили, я никогда до сих пор не ошибался. Не знаю сам, как и почему, но я читаю их прошлое совершенно ясно, как ряд мелькающих передо мной картин. Сейчас весь внешний вид и мимика этой вашей очаровательной приятельницы Алдаз так меня пленили, что я впал в это состояние прострации и увидел много-много картин из её прошлого. Я увидел сначала малютку-индианку, спящую в мешке за спиной у матери — индианки с тёмно-красной кожей. Рядом с ней шёл отец девочки, неся на спине мешок с тяжёлым грузом. Потом я увидел ту же мать уже с девочкой-подростком, оплакивающими убитого отца. Дальше: высокий, страшно высокий красавец на коне подобрал обеих несчастных, сидевших в отчаянии

ночью у костра. Потом я увидел мать и дочь с караваном верблюдов, пересекающих пустыню, затем — нечто вроде школы, где я увидел Алдаз уже одну, лет тринадцати, и, наконец, больницу, где Алдаз давала лекарство какому-то старику. Меня поразила жизнь этой юной девушки, такая безрадостная, монотонная, протекающая в лесах и дебрях, а ведь у неё ярчайший мимический талант. Судя по её движениям, необычайно пластичной походке и пропорциональности сложения, она должна танцевать как богиня, восхищать людей и пробуждать в них самое высокое и светлое чувство восторга. А она прозябает в глуши. Даже в древности, и то она проявила бы свой талант в обществе, была бы жрицей, танцовщицей в каком-нибудь храме. Вот о чём я думал, и, как всегда, судьбы людей и их неопишущая сказочность потрясли меня и на этот раз. Надо же было в глухом лесном уголке появиться рыцарю и спасти мать и дочь, уже смиренно приготовившихся быть растерзанными дикими зверями! И для чего же он их спас? Чтобы гениальный дар девочки погиб у коек больных!

Я стоял разинув рот у опушки леса, смотрел на Бронского и раздумывал, кто из нас помешанный, не замечая того, что сестра милосердия, шедшая с нами, — тоже туземка, не понимающая русского языка, на котором мы с Бронским говорили, — выражала все признаки нетерпения. Должно быть потеряв его окончательно, она мне сказала на плохом английском языке:

— Скоро, скоро, господин, вперёд. Доктор меня ждёт.

Я извинился перед нею и бросился вперёд с такой быстротой, что мои спутники еле поспевали за мной. Доставив к Кастанде сестру и Бронского, я поспешил к Иллофиллиону. Конечно, я сейчас снова ворвался бы к нему с ещё большим темпераментом, чем в первый раз, но, к счастью, встретил его у площадки лестницы шедшим мне навстречу. Он, очевидно, намеревался сказать мне что-то другое, но, увидев моё лицо, спросил:

— Что с тобой приключилось, друг?

— Пойдёмте в вашу комнату, Иллофиллион, мне необходимо вам кое-что сказать. Вы знаете, что Бронский колдун? Он может читать прошлое людей. Иллофиллион, миленький, вы можете знать, кем и чем был человек до встречи с вами?

Я торопился, говорил сбивчиво, с очень серьёзным видом, и всё же не мог не заметить, каким юмором светились глаза Иллофиллиона. Он привёл меня в себя, и я рассказал ему всё, что говорил мне Бронский, в том числе и то, как он прочёл прошлое Алдаз.

— Как бы я хотел узнать, правду ли видел Бронский насчёт жизни Алдаз. Иллофиллион, дорогой, можете ли вы это узнать?! — Я спрашивал, горя нетерпением, и никак не мог понять, как это Иллофиллион может спокойно сидеть, когда я ему передаю такие потрясающие вести.

— Я думаю, что тебе проще всего узнать самому, Лёвушка, правдиво ли Бронский описал тебе прошлое сестры Алдаз.

— Как же это? Сколько бы я ни старался, я ещё ни разу не видел никаких картин. Или вы думаете, что я должен очень сильно думать о Флорентийце и спросить его? — выпалил я, снова впадая в азарт желания узнать истину или убедиться, что Бронский просто маньяк, одержимый определённым пунктиком.

Иллофиллион засмеялся и, поглаживая меня по голове, что помогло мне мгновенно прийти в себя, сказал:

— Экое ты дитя малое, Лёвушка. Неужели я мог бы посоветовать тебе беспокоить твоего великого друга такими мелкими делами. Это всё равно что обращаться к нему с вопросами, как тебе научиться правильно завязывать сандалии или ставить на их подошвы заплатки. Я имел в виду самое простое, ничуть не превышающее твоих сил дело, — всё так же ласково поглаживая мою голову и улыбаясь, говорил мне обожаемый, снисходительный друг. — Ты сам спроси Алдаз, когда вечером, после чая, мы пойдём накладывать Максе новые повязки. Кстати, возьми эту сумку, здесь всё, что нам будет необходимо при вечернем обходе. А теперь походи прими душ и приляг отдохнуть в своей комнате. Ты так бежал, что тебе необходимо прийти в себя. Если, вернувшись сюда через полчаса, я найду тебя в спокойном состоянии, мы пойдём в комнату Али, и я дам тебе книги для первоначального знакомства с языком пали.

— О, Иллофиллион, какой же вы добрый! Я опять проштрафился, а вы мне даже выговора не сделали. Можете не сомневаться, вы найдёте меня совершенно спокойным денди!

— Смотри, вот тут-то и не проштрафься, — улыбнулся мне на прощание Иллофиллион.

Я и не заметил, какой пылью я оказался покрытым после дороги. Даже на блестящем полу я оставлял пыльные следы. С помощью Яссы я привёл себя в порядок, убрал комнату Иллофиллиона и стал ждать моего друга, который немного задерживался.

Образ Бронского снова встал передо мной, и нарисованные им в лесу картины оживали в моей фантазии. Мне так и представлялся высоченный рыцарь с чёрной бородой, подхватывающий мать и дитя в своё седло в страшном, темнеющем лесу. Так как я никогда не видел живого рыцаря, а образ высоченного черноволосого человека жил в моей душе только один, то я связал картину Бронского с личностью Али.

Как хорошо всё укладывалось дальше в моей поэтической фантазии! Али подобрал несчастных мать и дочь и со своим караваном переправил их в Общину, где Алдаз и поступила в школу. Образ Али завладел мною. Я уже

готов был мысленно позвать его и спросить, не подбирали ли он на дороге двух сирот, как дверь открылась и Иллофиллион окликнул меня.

— Я теперь знаю, кто был тот всадник, спасший Алдаз. Это был, конечно, Али. И дальше всё складно выходит, — не дав опомниться Иллофиллиону, бросился я к нему.

— Али или не Али спас Алдаз — это не так важно. Но то, что ты всё же не проникся достаточным вниманием к моим словам и хотел беспокоить Али по пустякам, — это нехорошо. Делать сейчас такую печальную мину и огорчаться не следует, но обрати внимание на две вещи: ни одного лишнего слова не говори, пока окончательно не обдумаешь то, о чём хочешь говорить или просить. Это одно. Второе: если я дал тебе задачу, а я сказал, что мы пойдём в комнату Али учиться, надо было приготовить себя, привести в себе всё в равновесие, чтобы твоё рабочее место оказалось в гармонии со всеми твоими творческими способностями. Мы пойдём в комнату великого мудреца, милосердие которого равно его мудрости. Милосердие его к тебе огромно. А твоё внимание, вообще очень ограниченное, собрано ли оно сейчас? Очистил ли ты его от мелких мыслей суеты? Проникся ли ты великой радостью служить когда-нибудь человеку благодаря тем знаниям, которые тебе решил открыть Али, посылая тебя сюда?

Только тогда ты можешь встретиться с Али и Флорентийцем и стать сотрудником в общей с ними работе, когда научишься входить в полную сосредоточенность. Тогда ты разделишь их труд и будешь полезен в их работе всем тем, кто тебя окружает. Ты проникнешь в их творческий путь настолько, насколько твоя верность им будет связывать тебя постоянно, легко и просто, с ними и с их путём любви к человеку. Ты здесь присутствуешь не только для того, чтобы обновить свой организм в течение нескольких лет и снова уйти в труд, через который будешь расточать перлы своего гения в утешение и помощь людям. Ты здесь гость Вечности, в Ней ты здесь встречен, с Нею уйдёшь. И каждый день твоей жизни — день дежурства у черты Вечности. Не в Общине ты «погостил» и не из неё уйдёшь — здесь *весь смысл* твоего существования. Ты из Вечности пришёл, в Ней живёшь в форме временного Лёвушки на земле и к Ней уйдёшь, но уйдёшь, обогащённый новым опытом, с открытыми глазами, постигая путь к совершенствованию и зная, как работать над собой, чтобы добиваться духовной освобождённости. Ты увидишь здесь многих гениев, узнаешь особый путь их жизни на земле. Ты узнаешь здесь ещё больше простых людей, в которых раскрываются лишь некоторые черты их талантов. Тяжкий или лёгкий путь, которым они следуют, зависит лишь от того количества предрассудков и личных слабостей, которые им удаётся с себя сбросить, то есть всё определяется тем, насколько они сумеют освободить заключённую в них Вечность от условностей.

Всё это говорил мне Иллофиллион, пока мы шли на островок Али, где нас снова встретили сторож и белый павлин. Поднимаясь в комнату Али, я был полон благоговения и благодарности к моему дорогому наставнику. Как-то особенно чётко ложилось сегодня мне на сердце каждое его слово. И в первый раз я не испытывал никаких сомнений и сожалений о собственной малости и неспособности, легко и просто подходя к книжным шкафам.

Иллофиллион тронул какую-то кнопку, и стенка раздвинулась, открывая за собою ещё ряд белых полок, полных книг. И каких только книг здесь не было! Иллофиллион вынул три небольшие книги, очень старинного вида, снова нажал невидимую мне кнопку, стенка сдвинулась, и я даже не мог различить, где она только что раскрывалась.

Подойдя к письменному столу Али, Иллофиллион раскрыл его куполообразную крышку из пальмового дерева, изображавшую два больших листа латании¹. Он усадил меня за стол, сел рядом и стал объяснять мне написание и произношение букв языка пали. Мне всё казалось очень трудным, так как я вообще не знал ни одного восточного языка, и потому первые слова незнакомого языка, такого чуждого мне, озадачивали меня.

Но преподавательский талант моего мудрого Учителя был на такой высоте, что, когда ударил первый гонг к обеду, я уже мог свободно читать и произносить некоторые слова. Иллофиллион показал мне, как закрывать и открывать стол, задал мне урок к следующему дню, и мы спустились в парк, в обеденную столовую.

Первое, на кого я обратил внимание, когда мы вошли в столовую, была Андреева, беседовавшая с каким-то стариком на непонятном мне языке. Судя по интонациям, я понял, что она на чём-то настаивает, а старик не поддается и в свою очередь пытается её убедить. Сидевший рядом Ольденкотт, очевидно, тоже не понимал этого языка и, когда мы вошли, беспомощно посмотрел на Иллофиллиона, как бы прося его вмешаться в их разговор. Но Иллофиллион, взяв меня под руку, поклонился им и прошёл прямо к нашим местам.

Постепенно столовая наполнилась, заняли свои места и Бронский с художницей. Снова я заметил среди присутствующих несколько особенно интересных лиц, но никак не мог охватить взглядом всех, кто сидел за столами.

— Не спеши узнать всех сразу, Лёвушка, постепенно ты познакомишься со всеми. Многих ты сможешь увидеть поближе завтра у Аннинова. А сейчас — я вижу, как тебя это интересует, — я тебе объясню, о чём спорит Наталия Владимировна. Ей хочется посмотреть на развалины одного очень и очень древнего города. Со свойственным ей темпераментом она готова не-

¹ Латания — разновидность пальмы. — *Прим. ред.*

медленно двинуться в путь, а старик-проводник отказывается ехать туда прямо сейчас, уверяя, что в данную минуту это опасно. Пути туда почти восемь суток по знойной, безводной пустыне или же через глухие топкие джунгли, где много диких зверей и змей. Надо выждать. Недели через три туда пойдёт караван, и можно будет, присоединившись к нему, проехать безопасно.

Лицо Андреевой показалось мне сейчас бурным ураганом. Ольденкотт несколько раз вздохнул и что-то тихо сказал своей соседке. Та рассмеялась, посмотрела на меня и сказала довольно громко мне через стол:

— Я собираю компанию бесстрашных людей, любящих путешествовать в пустыне. Не хотите ли поехать с нами, чтобы осмотреть один интереснейший древний город, вернее, его развалины? Говорят, днём они мертвы, но с закатом солнца на этих развалинах появляются тигры, львы, шакалы и обезьяны в таком количестве, что всё вокруг буквально кишит ими.

Я пришёл было в ужас, но потом решил, что надо мной смеются, и ответил в тон её насмешке:

— Мне не особенно хочется превратиться в уголь, пока я буду ехать по пустыне, и ещё меньше мне хочется провести ночь в приятной компании тигров и львов. Я ещё не успел завести себе заклинателя, а без него, пожалуй, не обойтись в таком почтенном обществе.

Андреева рассмеялась и сказала что-то старику-проводнику. Тот послал мне восточное приветствие. Я вспомнил пир у Али. Приподнявшись, я отдал ему восточный поклон. Проводник, с лицом, до черноты сожжённым солнцем, в белом тюрбане и бурнусе, был своеобразно красив. Седая борода делала его похожим на пророка. Посмотрев на меня пронзительными чёрными глазами, он быстро что-то сказал Иллофиллиону. Тот улыбнулся, кивнул головой и перевёл мне по-английски слова араба:

— Зейхед-оглы просит тебя принять его сердечный привет и говорит, что видит твой далёкий путь. Но путь этот будет ещё не скоро, и вовсе не в пустыню, а к людям. Он просит тебя принять от него в подарок маленького белого павлина, заблудившегося в лесу, которого он подобрал по дороге.

Я был в полном восторге. Иметь собственного белого павлина! Но что мне ответить, я не знал, так отлично помнил, что за преподнесённый подарок, по восточному обычаю, надо было отблагодарить ответным подарком, у меня же ничего не было.

— Поблагодари и согласишься, — шепнул мне Иллофиллион.

Я с большим удовольствием исполнил совет Иллофиллиона и почувствовал себя счастливым обладателем сокровища. Но Андреева решила не давать мне спокойно наслаждаться моим инстинктом собственника.

— На груди у вас сквозь полотно сверкает камень. И цены ему нет, и красоты он сказочной, и подлинная его значимость даже непонятна вам, — бро-

сала она мне, точно дрова рубила, говоря на этот раз по-русски. — Носите сокровище, за которое отданы сотни жизней, и ещё сотни были бы отданы, лишь бы его достать. И ему вы не радуется, а радуется глупой птице!

Глаза её сверкали. Блеск их, мне казалось, достигал самого камня на моей груди. Её взгляд был мне очень тягостен. Я закрыл плотнее свою одежду, прикрыл камень рукой и прижал его к сердцу, благоговейно моля Флорентийца научить меня лучше защищать его сокровище и суметь сохранить его до той самой минуты, когда мы с ним увидимся и я возвращу ему камень, который когда-то у него украли. И вдруг я услышал дивный голос моего великого друга:

— Будь уверен и спокоен. Всюду, где ты идёшь в чистоте, иду и я с тобой. Осознай в своём пульсе биение моего сердца. Есть много путей знания, но верность у всех одна. Распознавай во встречаемых их скрытое величие и не суди их по видимым несовершенным качествам. Оберегай мой камень, ибо он не одному тебе защита.

Мгновенно спокойствие сошло в мою душу, я радостно взглянул на Андрееву, с которой произошло что-то мне непонятное. Она побледнела, вздрогнула, склонила голову на грудь и точно замерла в позе кающегося. Я посмотрел на Иллофиллиона. Он был серьёзен, даже строг, и пристально смотрел на Андрееву. Когда та подняла наконец голову, он сказал ей очень тихо, но я уверен, что она слышала всё до слова:

— Стремясь пробудить в другом энергию и силу, надо уметь держать в повиновении свои собственные силы. Даже в шутку нельзя касаться того, о чём сам не знаешь всего до конца. Обратный удар может быть смертелен. И если он не оказался таким для вас сейчас, то только потому, что я его принял на себя.

Вокруг нас, где шёл общий и часто перекрёстный разговор, никто не заметил этой маленькой сценки. Да и вообще все так привыкли к эксцентричной манере Наталии Владимировны и говорить, и шутить, что её словам никто не придавал особого значения. Я же, хотя и не понимал всего до конца, всё же сознавал, что в словах Иллофиллиона таилось нечто очень значительное для Андреевой.

Её несколько презрительный тон, когда она возмутилась моею ребяческой радостью из-за подаренного мне белого павлина, огорчил меня. Я подумал, что совершенно невольно ввёл её в раздражение. И в то же время я вспомнил слова сэра Уоми, что каждый вступающий на путь Знания должен стараться говорить так, чтобы ни одно его слово не язвило и не жалило.

Я ещё раз прижал к груди камень, подумал о словах из письма Али: «Всё, чего должен достичь человек, — это научиться начинать и заканчивать каждую встречу в мире, доброте и милосердии» — и решил очень строго следить

за собою сейчас, чтобы сказанное мне другими — каким бы тоном оно ни было сказано — не вызывало во мне горести или раздражения.

Во время обеда седой проводник несколько раз взглядывал на меня, и я читал в его глазах огромное дружелюбие по отношению ко мне. Андреева сидела, опустив глаза вниз, была бледна и молча слушала, что говорили её соседи, изредка кивая головой. Мне казалось, что в ней происходит что-то особенное, для неё очень тяжёлое, что она пытается скрыть.

Бронский снова был обаятельным собеседником, но всё же я подмечал в его лице тревогу. Только спокойный взгляд Иллофиллиона, казалось, вливал в него уверенность каждый раз, когда взгляд его встречался со взглядом артиста.

После обеда Иллофиллион предложил мне пойти в комнату Али и приготовить заданный на завтра урок, что я с восторгом принял. Бронскому Иллофиллион разрешил до чая провести время у постели больного друга, а Альвера Черджистона позвал в свою комнату, от чего лицо молодого человека засияло.

Старый араб-проводник подошёл к Иллофиллиону и, глядя на меня, что-то стал быстро говорить, чему Иллофиллион смеялся. Ещё раз я пообещал себе с наивысшим прилежанием изучать языки Востока. Мне Иллофиллион сказал только, что после чая араб принесёт обещанного молодого павлина и объяснит, как за ним ухаживать и чем кормить.

В самом счастливом настроении я отправился учиться. Как обычно, и сторож, и его павлин встретили меня гостеприимными поклонами. Мне хотелось спросить сторожа, как зовут его и его чудесного павлина, но я был похож на того слугу из притчи, который вытирает пыль с драгоценных книг, не понимая языка, на котором они написаны. Для слуги книги были мертвы, а здесь передо мною были живые существа, но я не мог произнести ни одного понятного им слова.

Я стоял перед слугою с довольно растерянным видом. На лице его мелькнула улыбка, он похлопал меня по плечу, показал на свои уши и рот, и я понял, что он глухонемой. Теперь мне стало ясно, почему он всегда пристально смотрел на рот говорящего с ним человека. Слуга ещё шире улыбнулся, погладил павлина по его прелестной шейке, затем постучал по своему лбу, показал на лоб павлина, важно покачал головой, развёл руками, и я понял, что он объясняет мне, как необыкновенно умён и понятлив его павлин.

Пока я разбирался в заданном мне уроке, мне всё казалось необыкновенно трудным. Но как только я усвоил его — мне захотелось учиться всё больше и больше. Язык становился приятным и понятным, и чем дольше я сидел над его изучением, тем большая радость меня охватывала. Забыв обо

всём, я пропустил гонг, не слыша даже, как вошёл в комнату Иллофиллион, и очнулся только от его руки, коснувшейся моего плеча.

— Я так и знал, братишка, что за тобой надо зайти, иначе ты обо всём забудешь. — Мой наставник, смеясь, безжалостно захлопнул книгу, закрыл стол и вывел меня из комнаты. — Как бы ни спешил ты выполнить данную тебе или взятую на себя задачу — всё то, что тебя окружает и с чем ты связан, должно быть тобою уважаемо. Пища ждать тебя не может. И человек, обещавший принести тебе подарок, должен найти тебя ожидающим его. Говорят: «Точность — вежливость королей». Для ученика его самодисциплина — высшая точность в поступках и словах, высшая вежливость по отношению к тем, с кем он встретился. Живой человек — твоя первая задача всюду. Он для тебя самое важное, ибо в нём — цель действий твоих Учителей. Запомни это, Лёвушка, и охраняй всю свою внешнюю аккуратность не менее внутренней.

Мы быстро пошли в столовую парком, где стоял сильный зной, совсем не заметный в комнате Али. Когда мы кончили пить чай в гроте, на пороге его появился мой новый друг, араб, закутанный с ног до головы в белый бурнус, под складками которого он нёс прелестную корзинку из пальмовых листьев, в которой было устроено гнездо. В гнезде сидел маленький и очень несчастный на вид белый павлин. Но я никогда бы не признал в этом длинношеем, почти не оперившемся птенце, жалком и безобразном с виду, будущего царя птичьей красоты.

Араб поклонился мне и подал корзинку. Я залюбовался красотой необычайно сложного и искусного плетения на корзине и, должно быть, чересчур резко повернул её. Птенец жалобно пискнул, и этот слабенький звук сжал моё сердце какой-то неожиданной для меня самой скорбью. Я пожалел белняжку-птенчика, которого потревожил так неосторожно. Я не знал, как его приласкать и чем загладить свою вину перед ним. Я был так же беспомощен перед ним в качестве его воспитателя, как он передо мной в своей беззащитности. Я уже готов был возвратить хозяину его подарок, как он сказал мне на очень плохом, но вполне понятном французском языке:

— Вы не смущайтесь, ага, всякое дело сложно, пока не поймёшь, как им овладеть. Я вам и корм для него приготовил, и расскажу всё: как его поить, и как водить гулять, и как ему спать. Он, видите ли, уже привык ко мне и жалуется, зачем я отдаю его другому. Эти птицы так понятливы, что и не каждому человеку чета. Вот я ему сейчас объясню, что вы его настоящий хозяин, а вы дайте ему покушать вот этой кашицы с вашей ладони, и он будет определённно знать вас как своего единственного хозяина.

Араб осторожно вынул птенца из корзинки, поставил его на широчайшую ладонь своей левой руки, а пальцами правой с нежностью матери по-

гладил почти голую головку птенчика и потом передал его мне, посадив его на мою левую ладонь, где он едва поместился.

Преуморительно, с какой-то важностью посмотрел на араба птенчик; клюнул мою ладонь, где уже лежала положенная арабом кашлица, потом поднял голову, посмотрел на меня, ещё поклевал и пискнул. Но писк этот был уже не жалобный, а весёлый, точно он совсем примирился с новым хозяином.

Араб посоветовал мне положить птенца снова в корзинку и прикрыть пуховым платочком, который он вынул из своего бурнуса, так как, несмотря на жару, птенцу было холодно и он дрожал. Я сердечно поблагодарил араба за его подарок и высказал ему моё сожаление, что не знаю, чем его отблагодарить.

— Это не уйдёт. Вот на будущий год вы поедете осматривать пустыню, возьмите меня в проводники и заезжайте в мой дом передохнуть. Мой дом в оазисе, пути два дня пустыней.

Я ещё раз поблагодарил его, пожал ему руку и в обществе Альвера, Бронского и художницы Скальради, восхищавшихся моей птицей не меньше меня, понёс павлина в свою комнату. Через некоторое время к нам присоединились Иллофиллион и араб, и старик стал давать мне полное наставление по поводу того, как ухаживать за птицей.

— Вы знаете, друг, — сказал арабу Бронский, — ваши наставления, конечно, очень замечательны и доказывают вашу любовь к птицам, но они не менее сложны, чем если бы дело касалось человеческого, а не птичьего детёныша. Мне думается, что Лёвушке одному не справиться, пока птенец так мал. Нельзя ли мне принять участие в уходе за птенчиком? Мне бы это было так приятно, а Лёвушку бы немного раскрепостило.

На лице араба мелькнула улыбка.

— Через несколько коротких минут и вы, и Лёвушка узнаете кое-что о некоторых из этих птиц. Тогда вы оба поймёте, почему они так по-человечески сообразительны и почему за ними должен быть особенно тщательный уход. Я думаю, если доктор Иллофиллион разрешит, вам будет очень полезно понаблюдать жизнь птенца. Вы добры и чисты, птенцу вы будете милы. При таком друге он скорее разовьёт свои таланты.

Араб ещё раз улыбнулся, протянул Бронскому руку, а потом подал ему небольшой тёмный камень, вынув его из маленького кожаного мешочка.

— Это змеиный камень. Это амулет от укуса змей. Он останавливает кровоточивость ран, залечивает их быстро и спасает от смерти при укусе кобры. Но если его прикладывать к ранам от укуса змей, то силы его хватит только на четыре раза. После этого он теряет всякую силу и не годен

больше ни для каких целей. Возьмите его в память обо мне. Он вам вскоре пригодится.

Бронский своею беспомощной растерянностью напомнил мне моего беспомощного птенца. Я залился смехом, так комично показалось мне это сопоставление.

— Берите, Станислав Николаевич. Будем вместе обязаны аге Зейхед-оглы. Аوصь надумаем, как его отблагодарить.

Тут Бронский выкинул такое антраша, что я чуть не выронил мою корзину из рук. Я ещё не успел договорить фразу, как Бронский обеими руками обнял могучую шею араба, целовал его тёмное лицо и стал говорить что-то так быстро, точно читал псалтырь, как плохой дьячок, торопящийся поскорее отбарабанить надоевшую ему службу. Но, несомненно, в скороговорке Бронского был какой-то большой смысл, который араб отлично понимал, потому что весело смеялся и отвечал кивками головы на упрашивания Бронского. Артист вдруг пулей вылетел из комнаты, оставив даже дверь нараспашку. Ну как же тут было не словиворонить. Я был так озадачен, что счёл за лучшее сесть и поставить птенца на пол.

Глаза араба смотрели на меня с нескрываемым юмором. Иллофиллион тоже поблёскивал глазами и хранил могильное молчание. И только один Альвер мог служить мне утешением, ибо был мне под пару. Разинув рот, он стоял точь-в-точь в том же виде, как на горе, когда наблюдал наш с Иллофиллионом «полёт валькирий». Общее молчание, как мне показалось, длилось очень долго, и пауза становилась мне тягостной.

Араб подошёл ко мне, поднял с пола корзинку с птицей и поставил её на кожаный табурет у изголовья моего дивана. Он приподнял пуховый платочек и показал мне, как птенчик зарылся в пух гнезда, воображая себя под защитой крыльев и пуха матери.

— Вы не поняли ничего из слов вашего приятеля. Немудрено. Я и сам едва понял, хотя он говорил по-тюркски, а этот язык я хорошо знаю. Должно быть, я очень метко попал и подарил ему именно то, что ему хотелось иметь. Он просил меня принять от него кольцо в дар, в ответ на подаренный ему камень, и побрататься с ним за ту ласку, которую он нашёл в моих словах. По обычаям моей страны, я не могу взять подарок за подарок. Но в данном случае я не могу и обидеть этого человека, в котором так много детской наивности. Я вижу по его лицу, что он очень-очень много страдал и страдает ещё и сейчас. Если я унесу в его кольцо часть его горя, я буду счастлив.

Последние слова Зейхед-оглы выговорил тише и медленнее, и лицо его стало так серьёзно, что я с удивлением взглянул на него. Лицо Иллофиллиона тоже было очень серьёзно, даже как будто немного печально. Наконец внизу послышались торопливые шаги, кто-то быстро взбежал по лестнице,

и через миг перед нами стоял Бронский. Он, очевидно, бежал бегом туда и обратно, пот лил с него градом, даже одежда намочилась.

— Вот, прошу вас, возьмите в память о нашей встрече. Вы первый человек, проявивший ко мне полное доверие, увидев меня впервые в жизни. Обычно люди ждут от меня сильнейших впечатлений и встречают недоверчиво и холодно. В моём нестерпимом одиночестве я счастлив сейчас, найдя человека, так нежно, по-братски меня встретившего.

Бронский говорил теперь по-французски, говорил медленно, едва переводя дыхание после своей пробежки домой и обратно.

Араб взял футляр, который подавал ему Бронский, раскрыл его и покачал головой. Он рассматривал кольцо с большой чёрной жемчужиной, вделанной в круг сверкающих бриллиантов. Точно в блестящей чаше воды лежал чёрный камень, переливавшийся всеми цветами радуги. Араб переводил взгляд с жемчужины на измученное лицо артиста, покачивал головой и, держа кольцо у сердца, сделал глубокий восточный поклон.

Затем он так же глубоко поклонился Иллофиллиону, точно спрашивал у него благословения на важный шаг, надел кольцо на мизинец левой руки, на который оно едва налезло, хотя было сделано для указательного пальца артиста, по тогдашней моде.

— Я беру все твои скорби в своё сердце, все слёзы и бедствия разделяю с тобою с этой минуты, дорогой брат. Да прольются они ручьём в мой путь. Быть может, моя верность дружбе и нежная любовь к тебе помогут тебе перейти на путь тех, кто вносит во все встречи розовые жемчужины. Хвала Аллаху, поклон Твоему Богу и тебе. Храни в сердце память об этом дне как о счастливом дне моей жизни.

Зейхед-оглы ещё раз отдал поклон Иллофиллиону, поклонился нам и тихо вышел из комнаты. Я видел, что Бронский ничего не понял из того, что говорил араб. Сам же я подумал, что несчастье артиста было в том, что он являлся вестником горя для всех, кого встречал, и люди боялись его.

Снова в моей памяти вспыхнули слова Али, услышанные у двери его комнаты: «Встретив ученика, идущего путём печалей, возлюби его вавое». И как же я любил в эту минуту не только Бронского, но и того великого мудреца, который стоял только что здесь в образе простого жителя пустыни! Какое необъятное сердце носил он в груди, если радовался счастью принять на себя скорби другого! Иллофиллион обнял Бронского, подал ему лекарственную конфету и предложил принять у нас душ, сказав, что через пятнадцать минут он пойдёт в дальний домик к сестре Александре и возьмёт всех нас с собой.

Мне хотелось взять с собой и моего птенчика, но Иллофиллион не разрешил, сказав, что по дороге я пойму, почему этого не следует делать. Аль-

вер робко спросил Иллофиллиона, можно ли ему пойти с нами, на что он улыбнулся и ответил:

— Конечно, друг, ведь я не сделал исключения, а сказал, что приглашаю вас всех. Вообще с этого дня ты можешь, как и Лёвушка, считать себя в числе моих учеников. Завтра я укажу тебе твой новый распорядок дня. Оба вы должны знать, что здесь, в этих домах, живут люди, по тем или иным причинам проходящие первоначальные стадии ученичества. Вы видите здесь многих, кто уже не впервые посещает Общину. И всё же они живут в этих домах неофитов¹. И наоборот, вы не видите среди живущих здесь тех, кого встретили в первый день, как, например, Освальда Растена и Жерома Манюле.

В комнату вернулся Бронский, освежившийся, в чистой одежде, которую ему дал всемогущий Ясса, и мы двинулись в путь, взяв с собой аптечки. Зной всё ещё был сильный, я его ощущал очень остро, но спутники мои шли так, как будто тут царил комфортная температура нашего северного лета. Иллофиллион, заметив, что мне тяжело идти по жаре, взял меня под руку и перебрал на себя мою аптечку, не внемля никаким моим мольбам.

— Я обещал тебе, Лёвушка, рассказать кое-что о карлике Максе. Думаю, что всем вам, друзья мои, будет полезно узнать о судьбе этого маленького человечка, так сильно сейчас страдающего.

Если бы каждый человек *владел* всеми силами, которые в нём заложены, не было бы в мире ни страданий, ни ошибок, результатами которых и являются все скорби людей. Страсти, которыми окружён человек, угрожают собою весь его земной путь. Они лишают его возможности ясно видеть и распознавать истинно реальное среди того моря временных, иллюзорных красот, которые манят его и влекут в кажущийся прекрасным мир личной жизни, личной любви и личного счастья. Человек не свободен. Он живёт в плену своих условных привязанностей, и когда с его глаз спадают эти давящие телесные покровы любви, это происходит в великом страдании. Вся земная жизнь человека, по мере того как в нём просыпается мудрость, есть не что иное, как великий путь освобождения. Если бы человека так воспитывали с детства, чтобы весь его организм строился в гармонии, то тогда, созревая, он легко становился бы свободным, так как на его сознании, на его нервных сплетениях и сердце не нарастали бы бутры и глыбы всевозможных страстных извержений, которые зовутся в обиходе людей болезнями. И слух, и зрение развивались бы у человека не только физически, но и психически, рождаясь в полной гармонии его организма.

¹ Неофит — новый последователь какого-либо учения. — Прим. ред.

Сейчас мы увидим жертву борьбы страстей, борьбы добра и зла, если использовать эти понятия повседневной лексики. Перед *Истиной* нет ни зла, ни добра. Есть только степень знания, степень освобождения, мгновение чистой любви и мира в сердце человека или мгновение бунта его страстей и невежественности. Среди глухих непроходимых лесов, окружённых болотами, среди которых безопасны только узенькие тропочки, живут люди, помогающиеся у природы её тайн. Они стараются путём тайных знаний достичь умения владеть стихиями природы. Цель этих людей — владычество над миром. Их желания — обладать всеми благами для эгоистических целей, для порабощения людей, а не для труда на общее благо. Это тёмные оккультисты, нередко составляющие страшные секты, практикующие всевозможные сексуальные извращения и нередко прибегающие к человеческим жертвоприношениям. Они повсюду через своих прислужников завлекают таких людей, которые одержимы страстями ревности, зависти, ненависти и алчности, а также всех тех, кто неуравновешен и легко поддаётся раздражению. Эти тёмные силы опутывают таких людей сетями иллюзорного могущества и удачи, чтобы, предоставив им несколько пустяковых побед, уже не выпустить их из кольца змей, которое совет себе каждый из поймавшихся на эти крючки людей, поддавшихся очарованию предложенных ему призрачных благ.

Пользуясь своими относительно большими знаниями — «большими» до тех пор, пока они орудуют среди невежественности и порочности, и ничтожными, когда встречают истинно свободных людей, — они создали целое племя людей карликовой расы. Эти исковерканные и внешне, и внутренне существа очень злобны, воспитаны в вероломстве, обучены многим фокусам гипноза и чёрной магии. Но этим тёмным оккультистам всё же не всегда удаётся полностью извратить натуру всех несчастных, которых им удалось поработить. Нередко среди карликов находятся такие страдальцы, которые не приемлют зло, ненависть и лицемерие. Они пытаются бежать от чёрных магов после ужасающих страданий и наказаний за отсутствие пристрастия ко злу и за отказ совершать преступления. Великие труженики Светлого человечества часто выискивают таких несчастных, спасают их и доставляют в Общину Белых Братьев. Одного из таких страдальцев вы увидите сейчас.

Мы были уже на половине пути. В лесу было темно, сыро, и я представил себе, как должны страдать несчастные карлики, которых заставляют жить во тьме непроходимых лесов всю жизнь в обществе бесчестных и жестоких людей.

— Если сотрудникам Светлых сил удастся спасти такого поработённого чёрными магами карлика, то его помещают в особо благоприятные для него условия, окружают самыми чистыми и ласковыми людьми, учат гра-

моте, всячески развивают и стараются поднять его забитый дух. Но всё же, проведя детство и юность в рабстве, побоях и полной невежественности, эти несчастные создания в духовном смысле похожи на сморщенные, засохшие грибы. Они не владеют ни одной нитью духовных сил настолько, чтобы иметь возможность возжечь в своей душе искру огня и с помощью его уничтожить те наросты грубых тканей, которые были вплетены в их организм жестокими хозяевами через страх и боль. Для них невозможно более воплощение в полноценной человеческой форме, в которой должна быть открыта возможность управлять всеми видами сил — и физических, и духовных. И милосердная Жизнь, видя их немощь, помогает им переждать одно воплощение, рождаясь в виде птиц. Они перевоплощаются в белых павлинов. Вот почему эти птицы так понятливы и часто даже понимают речь, если человек прилагает к этому усердие.

При этих словах возглас изумления вырвался у каждого из нас.

— Но не думайте, что все без исключения белые павлины — непременно перевоплощённые добрые карлики. Тех, которые пройдут такой путь, Жизнь вводит всегда в Общины Светлых Братьев, — продолжал Иллофиллион, как бы не замечая нашего изумления.

— А мой птенчик, Иллофиллион, он тоже бывший карлик? Или это просто дикий павлин, которого Зейхед-оглы подобрал в лесу? — Я спрашивал, замирая от волнения, что моя птица обычная и мне не дано оберегать драгоценную человеческую жизнь.

— Твой павлин доставлен к Зейхеду совершенно особым путём. Араб знал, что он должен передать тебе птенца, и для этого приехал специально в Общину. Ты узнаешь, как, чем и когда ты связан кармой великой благодарности с тем несчастным карликом, который теперь пришёл к тебе за нею в образе белой птицы и который в одной из жизней был твоим злейшим врагом и убийцей. Тебе предоставляется сейчас возможность возвратить ему, в свою очередь, и уходом, и любовью, долг благодарности за спасение твоей жизни в далёком прошлом.

Мы вышли на поляну, где снова было жарко. К нам навстречу шла сестра Алдаз с очень обеспокоенным лицом.

— Чудеса, чудеса и чудеса, — прошептал Бронский.

— Нет чудес, есть знание, знание и знание, — ответил ему Иллофиллион.

Сестра Алдаз, без всякого приветствия, сразу стала что-то говорить Иллофиллиону очень встревоженным голосом. Лицо её, на которое я теперь особенно внимательно смотрел после того, что сказал о ней Бронский, менялось, точно в сказке. И вся она казалась иною, в зависимости от мимики лица. Вся её фигура то вдруг как-то тяжелела, то казалась воздушной в связи

со словами, которые она произносила. В ней всё было так гармонично, что содействовало выразительности её речи, и мне было понятно, что карлик с чем-то или с кем-то боролся, хотя слов её я не понимал. Он, видимо, кого-то боялся и пытался убежать.

Когда мы вошли в комнату, где лежал карлик, сестра Александра держала руки метавшегося больного, очевидно бредившего. Долго возился с ним Иллофиллион, я получал приказания подавать то одно, то другое лекарство, пока наконец больной не затих и не стал дышать спокойно.

Дав ему немного отдохнуть и подремать, Иллофиллион приступил к перевязке. Видев утром страшные зияющие раны, я и сейчас было приготовился к ужасному зрелищу. Но каково же было моё удивление, когда я увидел, что раны больше не кровоточат, а покрылись каким-то серовато-белым налётом. Иллофиллион развёл кипящей жидкости, смочил ею заготовленный дома пластырь и покрыл им раны. Больной вздрогнул, но не открыл глаз, продолжая дремать. Только когда уже он был совсем перевязан и Иллофиллион погладил его по голове, он открыл глаза, удивился, увидев вокруг себя так много людей, остановил взгляд на Иллофиллионе и улыбнулся.

Иллофиллион взял его здоровую ручонку и стал ласково с ним о чём-то говорить. Тот сначала словно не хотел отвечать, но затем заговорил быстро, жалобно, как бы о чём-то умоляя и чего-то боясь. Иллофиллион успокоил больного, отправил обеих сестёр ужинать и велел им привести с собой брата милосердия, который остался бы ночевать с больным и мог бы уйти от него только тогда, когда больной убедится, что его в обиду никому не дадут.

Через некоторое время пришёл брат милосердия. Лицо его меня поразило. Много добрых и светлых лиц видел я за это время, но такого потока любви, какой лился от всей фигуры этого человека, я ещё не видел.

Карлик едва на него взглянул, как заулыбался, что-то замулькал, протянул ему здоровую ручонку и постарался привстать, что ему тут же строго запретил Иллофиллион. Брата этого звали Франциск. На наше приветствие он каждому из нас посмотрел в глаза и подал руку. Но и взгляд его, и жесты, когда он здоровался с каждым из нас, — всё было таким различным, что я немедленно стал «Лёвушкой — лови ворон».

На Альвера он взглянул пристально, высоко поднял правую руку, улыбнулся и сказал на прекрасном французском языке, громко, чётко:

— Вы большой молодец. Идите как начали — далеко пойдёте!

На Бронского он смотрел долго, качал головой, поклонился ему низко-низко и тихо сказал:

— Довольно одиночества и скитаний. У вас теперь много друзей. Вы здесь оставите все слёзы и скорби и уедете в розовом плаще. А ваш, чёрный, ляжет мне на плечи. — И он снова низко поклонился ему.

Бронский словно превратился в соляной столб, очевидно будучи не в силах объяснить всего происходящего. Ко мне последнему подошёл Франциск, я стоял поодаль у стола и собирал аптечки, пока не словиворонил.

— Мир тебе, брат мой милый, носи людям радость. Редко когда так идёт ученик, имея счастье рассыпать радость и свет своим ближним. Не стой на месте, живи повсюду. Но где бы ты ни был — носи мир. Твой талант может одухотворять сердца. Научись здесь выдержке — и ты сможешь обрести гармонию. И ею будешь укреплять людей.

Франциск подал мне обе свои руки, и точно волна тепла и умиротворённости заструилась в меня через его руки. Он сел у постели карлика, склонился к нему и стал его кормить. Красные глазки страдальца выражали полное удовольствие. Он забыл обо всём и радостно смеялся между глотками пищи.

Иллофиллион помог мне собрать вещи, так как в смысле сосредоточенности я положительно был никуда не годен, как, впрочем, и мои товарищи. Иллофиллиону пришлось всех нас приводить в себя и напоминать об элементарных правилах вежливости, ибо мы собирались уйти, даже не простившись.

В последнем напутствии Франциск сказал мне:

— Ухаживай усердно за своим павлином, милый брат. Это много страдавшая душа. Чем больше внимания ты ей уделишь сейчас, тем выше она сможет подняться потом. Мне будет приятно, если ты будешь меня навещать. Я научу тебя, как видеть «сквозь землю», — чуть улыбнувшись, прибавил он.

Теперь уж я готов был превратиться в соляной столб, но Иллофиллион, смеясь, простился с Франциском и увёл меня из комнаты, как и всех остальных.

На обратном пути каждый из нас был погружён в свои мысли. Бронский, несмотря на прохладу леса, отирал платком лившийся градом пот. Англичанин шёл, точно полк за собой вёл. А я плёлся шаг за шагом, поддерживаемый Иллофиллионом, и не мог постичь, насколько неисчислимо разнообразие путей человеческих. То я вспоминал, что путей миллионы, а ступени у всех одни и те же. То я думал, что жизней человеческих неисчислимо множество и Жизнь — одна. И я не мог понять, как же обретают ту гармонию, о которой сказал мне Франциск, такие маленькие люди, как я. Положительно всё путалось в моей голове.

— Ты, Лёвушка, думай о своём «сегодня». Когда придём, покорми свою птичку, она, наверное, без тебя уже соскучилась. Собери внимание на текущих делах и вкладывай в них всё своё бесстрашие и благородство. А о следу-

ющем дне ты не думай, ты о нём будешь думать завтра, — ласково убеждал меня мой наставник.

— Ах, Иллофиллион, миленький, если бы я мог хоть на сотую долю быть таким заботливым другом для моей птицы, каким вы являетесь для меня, я был бы счастлив, что хоть в чём-нибудь смог выполнить свой урок. Как бы я хотел стать достойным ваших забот, — ответил я, впитывая в себя, по обыкновению, спокойствие, уверенность и мир от моего друга.

Дойдя до Общины, Иллофиллион простился с нашими спутниками, напомним им, что к ужину опаздывать нельзя.

Не успели мы войти в мою комнату, как мой новый сожитель встретил нас радостным писком. Я бросился к нему, осторожно вынул его из пуха и покормил с ладони. Иллофиллион помогал мне напоить птенца, что составляло целую проблему.

Окончив процедуру кормления, я приласкал моё белое сокровище и снова уложил его в гнездо. Раздался звук гонга, и мы спустились в вечернюю столовую. Здесь было светло, веера создавали прохладу.

К Иллофиллиону подходило много новых людей. Художница, расставшаяся с нами после чая, спрашивала меня, где я был, что я видел за это время. Я ответил ей, что видел так много, что даже и вместить не могу.

Наш разговор перебил Бронский и сообщил, что его другу как будто стало чуть-чуть получше, но его самого к больному не допустили.

Я не вслушивался в разговоры вокруг. Есть мне положительно не хотелось. Я даже не замечал блюд, которые мне предлагали, но повиновался приказанию Иллофиллиона, не освобождавшему меня от еды.

Как это ни казалось мне самому странным, но меня так клонило ко сну, что после ужина я прошёл прямо к себе. Приняв ванну, я закончил мой второй день в Общине, даже не заметив, как заснул возле своего нового друга, белого павлина.

ГЛАВА 3

ПРОСТОЙ ДЕНЬ ФРАНЦИСКА. ЗЛЫЕ КАРЛИКИ

Много времени, должно быть недели три-четыре, прошло, пока я окончательно не познакомился с огромным парком и прудами, находившимися на территории Общины. Теперь внезапно открывавшиеся виды или вырвавшиеся за поворотом дороги домики стали мне хорошо знакомы.

Мой друг, белый павлин, которого я сначала всё носил на руках, стал теперь преуморительно бегать за мной всюду, требуя своим писком и комическим похлопыванием маленьких, едва выросших крыльев, чтобы я брал его на руки, когда он уставал.

Я каждый день навещал Максу один или с Иллофиллионом, иногда — правда, редко — с Альвером, которому Иллофиллион поручил часть ухода за Игором.

Бронский чаще всего проводил со мною время между чаем и ужином, а весь день он был занят написанием какого-то сложного труда по своей специальности, в котором хотел передать своим ученикам всё, что открывал ему его гений артиста-творца.

Мои занятия в комнате Али шли успешно, настолько успешно, что Иллофиллион дал мне изучать и арабский язык, так как мне очень хотелось понимать моего нового друга Зейхед-оглы и не страдать, иногда надрываясь от смеха, от его французской речи.

Каждый раз, когда я приходил в больницу к сёстрам Аллаз и Александре, я неизменно встречался с братом Франциском. Он или гулял со мною по лесу, если был свободен, или звал с собой в аптеку, где готовил лекарства, и я ему в этом помогал. Иногда он приглашал меня в свою комнату, которая поразила меня своим видом, когда я её увидел впервые. Она находилась на втором этаже домика, стоящего на опушке леса, где были срублены верхушки де-

ревьев. Из его балконного окна открывался вид на дальние селения и была видна горная цепь, как и из комнаты Али. Точнее, это были три ряда идущих параллельно друг другу горных цепей. Так называемые зелёные, самые низкие горы, покрытые травой и прекрасными деревьями, начинались сразу у долины. На них паслись стада, виднелись работавшие люди. За ними тянулся хребет бесплодных, так называемых чёрных гор, до которых можно было добраться, только пройдя часть пустыни. И, наконец, снежный хребет, поражающий и ослепляющий, виден был во всей мощи и красоте из окна комнаты Франциска. Горы в этом месте делали полукольцо, точно углубление амфитеатра, и на этот-то амфитеатр как раз выходил балкон Франциска.

Едва ли можно подобрать верные слова, чтобы описать комнату Франциска или его самого. В этой комнате было несколько шкафов с книгами, небольшой стол странной формы, довольно узкий, высокий, из белого мрамора с очаровательными красными прожилками, такими многочисленными, что самый мрамор казался алым. Над столом висел большой крест из выпуклых красных камней. Когда луч солнца падал на него, он загорался горячим тёплым светом, точно смесь огня и крови, и часто привлекал моё внимание. Я часто думал, как прост и благороден этот крест, как пропорционален этот столик, но не мог решить, что же можно за ним делать. Писать? Для этого он был слишком высок. Есть? Тоже неудобен.

Но сам хозяин комнаты так поглощал всё моё внимание, что у меня просто не хватало времени спросить Франциска, что же он делает за своим высоким столом. В комнате стояли ещё три креслица, если можно этим словом назвать три сиденья, какие, пожалуй, могли быть только у пещерных людей. Сложенные из стволов пальм и кож, грубые — и всё же по-своему красивые, они были удобны для сидения.

Вместо кровати у стены стояли козлы с натянутой на них парусиной. В любую минуту они могли быть превращены в постель, но удобно ли спать на подобной постели, этого я никак решить не мог. Простой рукомошник с висевшей над ним стеклянной полочкой для умывальных принадлежностей и полотенца, письменный стол, камин — вот и всё убранство комнаты.

А между тем, как только я вошёл туда, меня охватило какое-то очарование, почти такое же чувство счастья, какое я испытывал, входя в комнаты Иллофиллиона, Ананды или сэра Уоми. Я видел глазами простые вещи, но ощущал всем сердцем не их, а того, кто здесь жил, кто наполнил всю эту комнату атмосферой мира и гармонии. Куда бы ни падал мой взгляд, я точно видел слова любви, вырезанные на всём сердце Франциска.

От самого первого впечатления и до сегодняшнего дня обаяние этой личности для меня всё возрастало. Он не говорил мне никаких особенных

слов, но при этом я ясно понимал, что такое духовно раскрепощённый человек, глядя на дела его обычного трудового дня.

Каждый тот день, когда я его не видел, казался мне лишённым чего-то, какого-то луча, без которого я уже не мог считать свой день полноценным. И я сознавал, что и все другие — от мала до велика — так же искали встречи с Франциском, чтили его и дорожили каждой минутой его общества. Где бы он ни проходил, всё расцветало улыбками, ну точь-в-точь как будто он шёл и цветочки сеял.

Сначала он озадачивал меня тем, что видел насквозь и читал чувства и мысли буквально каждого человека. Но очень скоро удивление моё перешло в экстаз благоговения. На его примере я впервые ясно понял, что такое любовь в человеке, любовь, льющаяся потоком, не ожидавшая взамен ничего для себя лично.

Любовь Франциска струилась в дела каждого его дня не потому, что он умом понял, как раскрепостить себя от личных чувств, но потому, что для него слово «жить» было синонимом слова «любить».

Моя радость от свиданий с ним была не просто радостью. Во мне замирало всё эгоистическое, когда я бывал рядом с ним. Я не думал, как мне себя *подготовить*, чтобы, войдя к нему, быть достойным его своей чистотой. Но, увидев его ещё издали, я заражался его духовной атмосферой. Я всегда ясно чувствовал, как будто переступал какую-то грань, что Франциск близко, что струи его любви бегут ко мне.

Постепенно я постиг, почему Франциск мог так понимать каждого человека, точно знал его с детства. Ему ничто не мешало в нём самом. Он не знал перегородок между собою и человеком, тех перегородок, которые мешали бы ему принять человека таким, каков он есть, целиком, и без всякой личной к нему требовательности. Его сердце было настежь открыто такой мощью любви, что каждый приходивший к нему человек, со всеми своими скорбями, слезами и сомнениями, вливался в эту мощь и оставлял в ней свои страсти, получая взамен мгновенное успокоение и облегчение. Пришедший оставлял ему свои горести и уходил от него утешённым и обрадованным.

Всё то мудрое и великое, о чём мне говорил Иллофиллион и что я принимал всем умом и сердцем, но что считал для себя идеалом далёкого-далёкого будущего, я видел в простой доброте этого человека, в его повседневной жизни.

Мало того что Франциск жил, любя. Он своим примером обращения с людьми умел каждого так удержать в силе своей любви, что любой в его присутствии смягчался, переставая раздражаться и неистовствовать.

Однажды я стал свидетелем и даже участником потрясающего случая. Мы с Франциском находились у его дома, когда на поляну из леса выскочили

двое крестьян: взбешённый отец, похожий более на разъярённого буйвола, чем на человека, гнался за своим сыном с огромнейшей дубиной. Он уже настигал несчастного, дубина уже была поднята вверх, чтобы опуститься на голову сына, как Франциск в два прыжка очутился перед разъярённым отцом и закрыл собою юношу.

Я в ужасе закричал, бросился ему на помощь, но убежавший юноша, очевидно, совершенно потерял рассудок и подумал, что я хочу его задержать. Со всей силой ужаса от надвигавшейся на него смерти он толкнул меня в грудь. Не ожидая с его стороны нападения, я упал навзничь; к счастью, я попал на завесу из лиан, запутался в них, но не особенно сильно ушибся. Но всё же я почувствовал резкую боль в позвоночнике и, вероятно, на несколько минут потерял сознание.

Когда я очнулся, Франциск стоял на одном колене и нежно держал мою голову руками. Рядом, закрыв лицо руками, рыдал, сидя на земле, юноша. Его отец сидел поодаль на упавшем бревне и, опустив голову, тяжело дышал.

— Мой бедный мальчик, вот опять тебе потрясение, а твоему организму так необходимо полное спокойствие. Не знаю, сможешь ли ты встать. Во всяком случае, вернуться в Общину к Иллофиллиону ты сейчас не сможешь. Я донесу тебя до своей комнаты.

Не знаю, как будто бы ничего особенного не говорил Франциск. Но тон его голоса, выражение его лица и глаза излучали такую бездонную любовь, такую умиротворённость и спокойствие, такую ласку и благословение, точно никакой драмы не произошло только что и он всего лишь созерцал рост цветов и трав, а не спасал от смерти человека, рискуя собственной жизнью.

Ещё никогда я не ощущал такого блаженства любви и радости. В меня как бы вливался струящийся от Франциска поток света, ласки и тепла. Я забыл о боли, о рыданиях юноши, которые не утихали, а стал весь каким-то лёгким, радостным, тихим.

Франциск помог мне улечься на земле поудобнее, свернув свою и мою шляпы наподобие подушечки, подошёл к юноше и положил ему руку на голову. Юноша затих, отёр рукавами глаза, посмотрел на Франциска и сказал:

— Кто ты? Я тебя никогда раньше не видел. Почему ты побежал ради меня на смерть? О, ты святой! Я видел у миссионера портрет такого Бога, точь-в-точь как ты. Это он, значит, тебя мне показывал? Что же я теперь должен делать? Ты, наверное, потребуешь, чтобы я стал монахом? Мне этого так не хочется! Но я знаю, что всё равно моя жизнь теперь принадлежит тебе и я должен жить дальше так, как ты прикажешь. Я повинуюсь, святой брат, приказывай.

Юноша стоял на коленях, сложив на груди руки, точно для молитвы. Но где мне найти слова, чтобы описать лицо Франциска? Он глядел на юношу,

как могла бы смотреть нежнейшая мать, лаская крошку сына. Он улыбнулся, и его улыбка, как благословение, как луч света, озарила всех нас.

Для меня эта улыбка звучала. Звучала так же, как звучал смех Ананды, который я называл звоном мечей, как смех сэра Уоми, который напоминал мне переливы очаровательных колокольчиков и шум весенних ручьёв. Эта улыбка в молчании сказочного леса звучала как неотделимая часть всей природы, как сила жить в счастье любви.

Я так погрузился в мои мысли, что опомнился, только услышав голос Франциска, говорившего юноше:

— Святым на земле нечего делать, мой друг. Они могут трудиться в мире выше нашего, где нам с тобой ещё не место. Я так же грешен, как и ты. И жизнь твоя нужна не мне, а тебе самому, всем твоим родным, той земле, по которой ты ходишь, всем людям, с которыми ты трудишься, и всем тем детям, которые от тебя родятся. Жизнь каждого человека нужна и ценна тогда, когда сердце его потеряло способность самому бояться и раздражать людей вокруг себя. Ты не хотел жениться на той, которую отец тебе выбрал в жены. Ты мог бы попросить его об отсрочке женитьбы, и всё закончилось бы благополучно. Ведь та девушка, которую выбрал тебе отец, слаба здоровьем. Она недолго проживёт. Ты же, вместо мирного разговора, стал бросать отцу слова упрёков. Ты старался задеть его побольнее. Ты играл со страстями отца, силы которых ты сам не знал, и тем ввёл его в безумие. Если бы случилось сыноубийство — твой отец был бы менее тебя виноват. Вся твоя жизнь с этой минуты и до смерти должна быть одним уроком любви. Ни одного человека ты не смеешь раздражать, но каждого, с кем бы ты ни встретился, ты должен суметь успокоить. Вот и весь тебе мой завет, в нём вся твоя святость. Иди, друг, подумай над тем, что я тебе сказал, и если тебе будет плохо, приходи ко мне в больницу. Ты меня всегда найдёшь, или тебе скажут, где я.

Франциск снял свою руку с головы юноши, но тот ухватился за его одежду и умоляюще сказал:

— Святой брат, положи ещё твою руку мне на голову, не прогоняй меня, возьми меня в слуги, я буду так счастлив жить подле тебя.

Снова, ещё сильнее прежнего, точно целая симфония любви, зазвучала улыбка Франциска, и он ласково сказал:

— Порыв твой прекрасен, как прекрасен этот цветок. Цветок отцветает через неделю, а порыв твоего чувства засохнет через пять дней, если ты останешься здесь. Твоя жизнь — земля в цветении тела. А дух твой ещё только зарождается, как почки на дереве. Живи, как живут твои родители и братья, люби свою девушку, как любишь мать и сестру, и строй семью, как я тебе сказал, чтобы никто и никогда не слышал твоего сурового или раздражённого голоса. Иди, трудись и будь добр ко всем.

Юноша поднялся с коленей, поклонился Франциску и повернулся, чтобы уйти. Он шёл медленно, как бы нехотя, а Франциск смотрел ему вслед всё с той же улыбкой любви, которая заливала, казалось мне, всё пространство вокруг. Внезапно юноша повернул обратно, подошёл к отцу и с огромным усилием, побеждая себя, сказал:

— Отец, прости меня. Он велит мне жить в мире со всеми. Если не примирюсь с тобой, то как же я буду жить в мире с другими, если всё ссорюсь с тобой? Тогда мне придётся умирать, потому что он владеет теперь моей жизнью, а я не смогу выполнить его завета.

Грузная, приземистая фигура отца юноши, его огромная бычья шея, опущенная вниз голова — ничто не шевельнулось. Франциск подошёл к нему, тронул его за плечо, и глаза, полные ярости, бешенства и злобы, поднялись на Франциска, а вместе с ними поднялась и его громадная ручища. Я снова готов был вскочить и бежать на помощь, мне казалось, что сейчас неизбежно случится катастрофа. Но в этот момент голова мужчины опять опустилась, а рука его упала на колени. Франциск ласково провёл рукой по его голове.

— Разве ты безгрешно прожил юность? Чему ты удивляешься сейчас? Разве ты подавал пример доброты или ласки детям? Если ты действительно считаешь себя безгрешным, брось камень в сына. Если же знаешь, что много на сердце твоём тяжести, обними сына, он понесёт часть твоих тяжких грехов и снимет с тебя много страданий. Сейчас он просит у тебя прощения. Не ты ли должен трижды просить его у сына, ибо ты уже трижды обманул его?

Голос Франциска был ласков и радостен. Точно тигр вскочил человек с пня, схватил нежную руку Франциска в свои огромные ручищи и дико закричал:

— Кто тебе сказал? Один я про это знаю! Где ты был? Ты за мной подсматривал? Ты подслушивал?

— Тише, отец! Разве ты не видишь, какие у святого тонкие руки? Ты сломаешь ему руку!

Силач выпустил руки Франциска, на которых остались сине-багровые полосы и отпечатки могучих пальцев. Я застонал при виде этих точно кровоточивших отметин. Сам крестьянин, очевидно не ожидавший такого эффекта от своего прикосновения, казался очень смущённым и прошептал:

— Прости, святой брат.

Взгляд его теперь смягчился, в глазах появилось человеческое выражение.

— Обними сына и дай ему свободу жить так, как он хочет.

— Да ведь ты не знаешь, что он выдумал! Ему, видишь ли, учиться надо. Грамоту захотел знать! Сказочников на базаре наслушался да с арабом одним

дружбу свёл, учиться читать желает! — снова и всё больше раздражаясь, кричал, точно рычал, как дикий зверь, отец.

— А ты, в твоём детстве, разве не просил отца пустить тебя в школу? Разве ты не плакал, когда он отказал тебе? Но ведь он не бил тебя за твоё желание учиться. Почему же ты погнался за сыном, желая его убить? Вдумайся и сознайся: зависть и ревность к судьбе сына лучшей, чем была твоя собственная, — вот что разъярило тебя.

— Может, это и так, — скорее простонал, чем сказал человек. — Но ведь я не хотел убивать его, я хотел только пострадать. Всё последнее время я сам не свой и не пойму, что со мной творится. Вьются возле меня, шныряют два каких-то карлика, да такие противные! И как только они появляются, ну точно бес в меня вселяется. Я на всё раздражаюсь, всех ругаю, становлюсь сам не свой. Вот и теперь. Шёл я с сыном, спокойно разговаривал, откуда ни возьмись — выскочили эти бесенята да давай что-то лопотать, тыкать пальцами и показывать на дорогу в больницу. Я понял, что им нужно туда идти, да боялся беспокоить доктора. Взял одного из них за руку, чтобы его провести, а он как кольнёт меня какой-то остренькой палочкой — точно калёным железом прямо в сердце мне ударил. Я выпустил его ручонку, а они оба бросились бежать в глубь леса. Тут сын что-то сказал мне, я даже сейчас и не помню, что именно. Но сразу я страшно обозлился и замахнулся на него дубиной.

Он помолчал, отогнул рукав своей одежды и показал на руке, около локтя, большое синее пятно, в центре которого зияла маленькая ранка, с булавочную головку.

Франциск склонился к его руке, потом вдруг с неожиданной силой поднял мужчину с дерева и быстро скомандовал:

— Сейчас же иди за мной! Тебе грозит смерть или кое-что ещё похуже!

Он подхватил меня на руки, юноша помог ему нести меня, и почти бегом Франциск бросился к больнице, приказав крестьянину идти впереди. Тот сначала шёл очень быстро, но уже у входа в комнату должен был опереться на сына и, едва войдя, почти без сил опустился в кресло.

Франциск положил меня на свою кровать — я всё ещё ощущал сильную боль в позвоночнике — и стал быстро готовить какое-то лекарство. Дав его выпить больному, он слегка приподнял крышку мраморного стола и достал оттуда какую-то палочку — как мне показалось, стеклянную, игравшую всеми цветами радуги.

Что меня особенно поразило — на конце этой палочки словно огонь горел. Этим огнём Франциск, что-то протяжно напевая, коснулся раны больного. Тот вздрогнул, но, вероятно, не от боли, так как лицо его осталось спокойным. Ещё и ещё касался Франциск тела пациента палочкой, как бы

вычищая её огнём яд из его ранки. Через несколько минут из раны брызнула кровь. Но что это была за кровь! Тёмная, запёкшаяся, она не лилась, а словно выскакивала сгустками, напоминавшими черноватые пробки. Франциск всё так же продолжал напевать свой протяжный гимн, и наконец из раны показалась струйка алой крови.

На губах больного появилась пена, он кашлянул, и изо рта его показалась кровь, которую Франциск быстро вытер полотенцем. Приподняв крышку мраморного стола, он положил палочку на место с такой же осторожностью, с какой её вынимал, и велел юноше пройти в большой дом больницы, разыскать старшую медсестру и попросить её немедленно прийти сюда. Тем временем он дал больному какое-то полоскание, подождал, пока кровотечение остановилось, и тогда дал ему ещё капель. С необычайной ловкостью Франциск наложил повязку на рану, подвязал руку больному на бинте к шее и сказал вошедшей сестре Александре по-французски:

— Больной нуждается в полном спокойствии. Кроме того, к нему, как и к вашему малютке-пациенту, никого впускать нельзя. Особенно строго оградите домик, в котором находится малютка, и передайте брату Кастанде, что я прошу прислать двух сторожей с белыми павлинами в больницу. Он всё поймёт. Пошлите кого-либо к Иллофиллиону, скажите, что я прошу его немедленно сюда прийти. Он сам знает, что ему с собой захватить. И сейчас же, даже сию минуту, прикажите сестре Алдаз принести сюда её больного. Кто-нибудь, да хоть ты, мой друг, — обратился он к юноше, сыну крестьянина, настолько одуревшему от целого ряда неожиданных событий, что он стоял разинув рот. Перейдя на туземный язык, Франциск продолжал: — Пойди вместе с начальницей и принеси сюда детскую кроватку, которую тебе укажут. А отцу помощи дойти вот сюда.

Говоря это, Франциск отодвинул в сторону нечто вроде ширмы, которую я вначале принимал за стенку. Там оказалась ниша, в которой стояла кровать с чистейшим постельным бельём. Туда уложили больного, и Франциск сказал сестре Александре снова по-французски:

— Спешите, в лесу бродят два карлика, они злы и опасны. Ни маленький больной, ни этот силач не должны подвергаться их нападениям. Даже встреча с ними сейчас может быть опасна для пациентов и кого бы то ни было. Я буду охранять моих больных и сестру Алдаз. Вы же спешите выполнить всё, что я сказал.

Когда сестра и юноша вышли, Франциск, от лица которого словно исходил свет в виде потока лучей, переставил кое-какие вещи в комнате, и я понял, что он готовил место для кровати карлика. Глядя на него, я всё более и более изумлялся. Бог мой! Что это были за глаза, какие это были движения! Я ощущал всем существом, что Франциск не ступ отставляя, а молился. Он

не просто действовал на земле, совершая даже самые простые дела, а будто прославлял Бога каждым своим движением. Улыбка не сходила с его лица, улыбка, выражающая счастье жить. Он посмотрел на лежащего на кровати угрюмого и грубого силача, увидел, как по его огромным щекам вдруг покапались слёзы, подошёл к нему и таким ласковым голосом сказал ему несколько непонятных мне слов, что у меня в сердце точно благодать разлилась.

Погладив его лохматую голову, он помог ему повернуться на другой бок, и через пару минут его дыхание стало ровным и тихим; я понял, что большой заснул.

На руках Франциска всё ещё оставались багровые следы от тисков крестьянина-силача. Мне казалось, что они даже стали ещё страшнее на вид и вот-вот из них брызнет кровь. Я только хотел было сказать, что пора ему заняться самим собой, как в этот момент сестра Алдаз внесла на руках прикрытого простынёй Максу. Юноша, на лице которого читалось теперь только восхищение красотой девушки, нёс кровать малютки. Он так и стоял посреди комнаты, не сводя глаз с очаровательного личика Алдаз, держа в руках лёгонькую бамбуковую кроватку и окончательно потеряв соображение. Целая гамма стольких разнообразных переживаний, испытанных им за полчаса, очевидно, не могла уложиться в его мозгу. Он был так комичен, что я не мог удержаться от смеха, видя в этом юноше свой собственный портрет «Лёвушки — лови ворон».

Моему смеху вторил Макса, не выдержала испытания на серьёзность Алдаз, а Франциск, взяв кроватку, поставил её на приготовленное место, сам уложил в неё карлика и, точно про себя, сказал:

— Самое время, самое время.

Я этих слов не понял. Но, взглянув на юношу, увидел внезапную перемену в его лице. Его лицо побледнело до серости, потом на нём отразилась ярость, он протянул руку, показывая Франциску на что-то в окне, и, быстро бормоча проклятия, хотел убежать из комнаты туда, но Франциск его удержал, спокойно объясняя ему что-то на его родном наречии.

Лицо Алдаз, поглядевшей в окно, тоже изменилось, она казалась испуганной и с тоской смотрела на Франциска. Он же, не переставая улыбаться, посадил её у постели Максы, которому сказал:

— Спи, дитя, надо спать, пока не придёт доктор Иллофиллион.

Макса закрыл глаза, и я был поражён, как безмятежно и мгновенно он заснул, даже смех его оборвался внезапно и быстро. Франциск велел юноше сесть у постели отца и объяснил, что надо сидеть там, не сходя с места, до тех пор, пока не придёт доктор Иллофиллион.

Сколько я ни старался увидеть из окна, что так испугало Алдаз и рассердило юношу, я ровно ничего не видел, кроме чудесного лесного ландшафта.

— Твои глаза ещё не могут видеть «сквозь землю», — усмехнулся Франциск, сев подле меня. — Но вот, посмотри туда, на кусты жасмина. Ты видишь, как чуть-чуть шевелятся несколько ветвей, тогда как все остальные стоят совершенно спокойно? Воздух неподвижен. Что может колебать некоторые ветви? Только нечто, что находится внизу, на земле. Заметь направление, в котором идёт движение ветвей. Оно идёт прямо к окнам домика, из которого только что вынесли Максу. Теперь я уже слышу, как сюда торопятся сторожа со множеством белых павлинов, и ещё быстрее идёт Иллофиллион. Знаю, что ты не умеешь ещё сосредоточивать своё внимание, и потому говорю тебе: не отрывайся взглядом от клумбы с кустами жасминов и цветами, и ты получишь сегодня большой жизненный урок, гораздо больший, чем если бы я три часа подряд рассказывал тебе о том, что такое злая воля и злая сила в человеке.

Франциск ещё раз приказал всем нам не двигаться с места ни при каких условиях, даже если бы стрела влетела в окно, не менять положения и не прикасаться ни к чему, что может быть брошено к нам в комнату через окно. Он вышел из комнаты и стал в дверях сеней домика.

Я следил за кустами и цветочной клумбой, видел, что цветы и ветви продолжают тихонько колебаться, и стал вглядываться в ветви кустарника, находящиеся ближе к земле, стараясь понять, что могло вызывать такое равномерное колебание. Раза два мне показалось, что я заметил какого-то ребёнка среди цветов. Но, сколько я ни вглядывался дальше, ничего не мог увидеть. Вдруг в той комнате, где раньше лежал Макса, что-то упало и разбилось с сильным звоном. Среди царившей тишины этот сравнительно небольшой шум показался мне грохотом пушки. Я боялся, что больные проснутся, но звук не произвёл на них никакого впечатления.

Я приподнялся и увидел, что Франциск теперь стоит на середине поляны лицом к кустам, спиной к бывшей комнате Максy. На его лице было всё то же выражение, точно он прославлял своё счастье жить. Он внезапно вытянул руку, и я вздрогнул так, что всю мою спину снова заломило: у самых его ног в земле торчала стрела. Я всем усилием воли смотрел на кусты и теперь увидел, как оттуда вылетела вторая стрела и впилась в землю рядом с первой. Я совершенно оторопел. Я не понимал, зачем Франциск стоит у кустов, где ему грозит смерть. И как может человек с выражением такой безмятежной любви на лице стоять у черты зла и смерти? Мои мысли прервал донёсшийся издали шум. Я никак не мог определить, что это за шум, мне казалось, что бегут несколько человек.

Внезапно вся поляна покрылась, точно снежным облаком, белыми павлинами. Несколько мужских фигур, сообразно указаниям Франциска, разместили птиц в три кольца. Одно кольцо охватило клумбу жасминов, вто-

рое — по обе стороны стоявшего в центре Франциска — защищало все входы в дома больницы, а третье защищало все выходы в лес.

Люди держали в руках нечто вроде блестящих металлических сеток и разделяли собой каждый десяток павлинов. Присмотревшись к мужской фигуре, стоявшей на лесной дорожке прямо напротив Франциска, я узнал в ней Иллофиллиона. Зрелище было так захватывающе прекрасно и интересно, что мне надо было собрать все усилия, чтобы не оторваться вниманием от кустов и не словиворонить.

Павлины сужали свой первый круг, образованный возле кустов жасмина и клумбы. Соответственно им и второй круг, где стояли друг против друга Франциск и Иллофиллион, также подвигался ближе к кустам. Одновременно и Иллофиллион и Франциск подняли руки вверх, и тут же я остолбенел. Лицо Иллофиллиона было грозно и повелительно, так повелительно, каким я и представить себе его не мог. Он был похож на Бога силы, которому ничто противостоять не может. А Франциск был похож на Бога любви, и такой любви-силы, которой тоже ничто противостоять не может.

В кустах раздался дикий вой. Это был вой ярости, бешенства, протеста. Оттуда выскочил карлик и бросился бежать. Но павлины сомкнулись горой, распустили свои хвосты и встали друг другу на спины, образовав белую стену, преградившую ему путь.

Тогда карлик бросился в образовавшееся с другой стороны павлиньего кольца отверстие и понёсся во всю прыть своих маленьких ножек прямо на Иллофиллиона, который схватил сетку, переброшенную ему ближайшим соседом, и накинул её на карлика, нёсшегося вперёд со всей яростью и доступной ему скоростью. Не ожидав преграды сверху, карлик упал на землю и дико взвыл — и как только могло так ужасающе громко и злобно выть такое маленькое существо! — и стал кататься по земле, всё больше запутываясь в сетке, которую он старался разорвать руками и ногами, грыз зубами и резал ножом, который появился в его руках — я и не заметил, каким образом.

Иллофиллион протянул руку к катавшемуся у его ног клубку и сказал что-то очень повелительным тоном. Карлик, застывший было на миг, принялся снова ещё ужаснее выть, плевать и, очевидно, проклинать. Иллофиллион подошёл ближе и опять что-то сказал. На этот раз в его тоне звучало предостережение. Карлик замолк, и вдруг лицо его озарилось буквально дьявольской улыбкой. Он весь собрался в комочек, быстрее молнии натянул тетиву лука и пустил стрелу прямо в грудь Иллофиллиону. Сестра Алдаз, юноша и я вскрикнули от ужаса. Алдаз закрыла лицо руками, я же попытался бежать на помощь, но не имел сил не только бежать, но даже не мог приподняться выше того, как сел в самом начале. Стрела внезапно

взвилась вверх, и я ожидал увидеть её в темени Иллофиллиона. Но вместо этого она упала на поляну, как раз между Иллофиллионом и Франциском.

Снова раздался голос Иллофиллиона, но на этот раз я не узнал дорогого мне чудесного и мягкого голоса. Это было нечто вроде громовых раскатов. Как будто бы эхо присоединялось к каждому слову, усиливало его стократно и сливалось со всей природой.

Карлик задрожал. Я увидел, что сеть, в которой он запутался, начинает краснеть, точно накаляться. Увидев этот ужас, поняв, что он сгорит заживо, если не исполнит какого-то приказа Иллофиллиона, карлик принялся выбрасывать из своей одежды какие-то корешки, стрелы, свёртки, сбросил лук, потом какие-то мешочки и посмотрел на Иллофиллиона.

Сеть продолжала накаляться. Иллофиллион ещё раз предупредил о чём-то карлика. Но тот отрицательно покачал головой. Тогда лицо Иллофиллиона стало бледно, милосердно, но... я понял по жесту его руки, что смерть карлика, не желавшего подчиниться требованию Иллофиллиона и отречься от зла, неизбежна.

И карлик понял, что обмануть Иллофиллиона ему не удастся и что его смерть близка. Он встал на колени — лицо его, серое от страха, ужасное, было омерзительно — и выбросил из карманов несколько чёрных камешков. Пламя сетки, уже подходившее к несчастному, погасло. Иллофиллион подошёл вплотную к карлику, поднял сетку палочкой, которую вынул из-за пояса, отбросил её в сторону и накинул на карлика другую, которую ему снова подал его сосед. В ней карлик остался лежать у ног Иллофиллиона. Тут опять раздался вой из кустов, точно кого-то оплакивающий. В этом вое было столько отчаяния, что я весь внутренне сжался.

Франциск, стоявший до сих пор неподвижно, сделал несколько шагов по направлению к кустам, и птицы целой стайей двинулись за ним. Он остановился почти у самой клумбы и стал что-то говорить кому-то, мне невидимому.

Я не понимал этого языка и не мог угадать смысла того, что он говорил. Но интонация его голоса, бесконечная ласка, мир и доброта, которые слышались в нём, говорили моему сердцу, что его любовь и желание принести помощь не знают ни предела, ни отказа. Но что особенно поразило меня и запало мне в душу — это лицо Франциска. Ах, сколько раз потом в трудные и опасные минуты жизни, и в моменты внутреннего разлада и смертной тоски вставало передо мной это бледное лицо в экстазе любви и доброты!

Бледный, с огромными синими глазами, испускавшими лучи, с улыбкой радости он протянул вперёд руку. Всей своей позой Франциск говорил: «Приди ко мне, и я утешу тебя».

Я увидел, как из кустов стал выползать на четвереньках второй карлик. Этот был ещё уродливее первого. Совершенно непропорционально сложен-

ный, с огромной головой, сравнительно длинной талией и коротышками-ножками, он поднялся на ноги с трудом и пошёл прямо на Франциска, воя, точно собака по покойнику. Длинные руки его висели ниже коленей, челюсть с обнажёнными дёснами выдавалась вперёд; она у него была почти от уха и до уха. Это страшное, невообразимое человекоподобное чудовище не дошло до Франциска шагов трёх. Я ожидал, что тот сейчас же возьмёт его на руки, поднимет и приласкает. Но случилось иначе.

Первый карлик, сидящий в клетке, во всю мощь своей глотки стал что-то орать своему сподвижнику, показывая ему на стрелу, торчавшую посреди тропинки на поляне, и на те чёрные камешки, которые он выбросил из своих бездонных карманов. Второй карлик сначала слушал внимательно, приоткрыв рот с уродливыми толстыми губами, потом взглянул на Франциска, отпрянул назад и завыл, закрывая глаза руками.

Первый карлик заорал ещё настойчивее. Франциск махнул на него слегка рукой, и тот замолк. И снова раздался голос, который я опять истолковал себе так: «Приди ко мне, и я утешу тебя».

Карлик, так же молниеносно, как это проделал несколько минут назад его товарищ, выпустил стрелу, но она упала на землю, вонзившись рядом с первой. Тут оба карлика точно с ума сошли. Они стали так выть и кататься по земле, кусая даже землю вокруг себя, что Франциск взял сетку из рук своего соседа и мягко, точно ватой, прикрыл ею урода.

Так же как и первый, второй карлик запутался в сети. Голос Франциска, точно арфа, звучал нежно и кротко, когда он подошёл к бесновавшемуся уроду и опять стал говорить ему что-то.

Вскоре второй карлик затих. После этого он послушно вынул всё, что хранили его карманы, аккуратно сложил всё это в кучу и сверху положил такие же чёрные камешки, какие выбросил первый. Потом он встал с коленей, пристально посмотрел в глаза Франциску своими красными глазами, и нечто вроде довольной улыбки раздвинуло его губы. Он моляще протянул руки к Франциску, показал на кучу своего аккуратно сложенного добра, притронулся к сердцу и горлу и провёл рукой по своей шее, как бы показывая, что ему отрубят голову его хозяева.

Снова сказал ему что-то Франциск, и интонация его голоса, как и выражение глаз, говорили всё то же: «Приди ко мне, и я утешу тебя». Теперь, казалось, карлик наконец-то понял, что нашёл верного защитника, который не предаст его. Он снова опустился на колени, завыл что-то миролюбивое и коснулся лбом земли.

— Лёвушка, собери все свои силы и выйди сюда, — услышал я голос Иллофиллиона. Я с трудом, но всё же без особого напряжения, поднялся, сам поражаясь, как же это я не мог встать некоторое время тому назад. Я вы-

шел из дома, и Иллофиллион указал мне, что я должен пройти между двумя рядами павлинов, со всех сторон бежавших мне навстречу.

Павлины сдвинулись в две плотные шеренги и образовали нечто вроде тропочки между мною и Иллофиллионом, так что я мог идти только по этой узкой тропе. Когда я подошёл к Иллофиллиону, он обнял меня одной рукой за плечи и сказал:

— Ни я, ни Франциск не можем коснуться этих несчастных, потому что от нашего прикосновения они умрут мгновенно, как это случилось бы и с теми, кого ты должен был коснуться в Константинополе по просьбе сэра Уоми. Там у тебя был верный помощник — храбрый капитан. Здесь ты один. Хочешь ли ты помочь мне и Франциску? Те люди, которые здесь находятся, не могут нам помочь, каждый по своей причине. Но чтобы нам помочь сейчас, нужно не только полное бесстрашие, но и всё милосердие, вся радость, вся любовь к Богу в человеке. Надо забыть о внешней безобразности этих созданий и вспомнить о заложенной в каждом человеческом существе искре Света. Хочешь ли, друг, спасти этих несчастных?

— О, Иллофиллион, как можете вы спрашивать, хочу ли я. Вопрос в том, как смогу я быть вам полезным. И страха у меня быть не может, ведь вы же рядом со мной, и я всем сердцем хотел бы помочь этим бедным страдалцам, чтобы хоть на йоту отблагодарить вас за всё то, что вы для меня сделали и делаете. Призывая имя дорогого Флорентийца, я постараюсь собрать всё своё внимание. Я готов, я слушаю вас.

Иллофиллион подал мне палочку, которую держал в руках:

— Держи палочку прямо напротив сердца этого бедного создания. Направь к нему такую силу любви, какую твоё сердце только способно возжечь в себе. Радуйся, как радуется сейчас Флорентиец, видя твоё полное самотвержение и желание спасти этих жалких, злых существ. Когда я притронуся к твоей руке, *что* бы ни проделывал карлик, коснись немедленно его лба. Постарайся сделать это молниеносно, а потом снова держи палочку на уровне сердца карлика.

Я взял палочку. Волшебное чувство счастья, радости охватило меня. Я себя почувствовал необычайно спокойным. Ноги мои, вначале так слабо переступавшие, когда я шёл, точно приросли к земле, во всём теле я почувствовал такую силу, словно и конца ей не было.

Иллофиллион стал произносить что-то протяжное на языке пали, какой-то гимн. Теперь я знал этот язык уже настолько, чтобы понять, что это именно пали. Иногда я понимал отдельные слова, но содержание всего произносимого от меня ускользало. Вдруг интонация Иллофиллиона резко изменилась. В голосе его послышались снова раскаты грома. Я крепче сжал пальцы вокруг палочки, посмотрел на карлика и едва не выронил палочку

из рук. Он пытался, пронизывая меня своими страшными глазами, которые сейчас не влияли на меня никак, коснуться моей палочки, для чего встал во весь рост и тянулся что было мочи ко мне.

Но никакие его усилия не помогали. Он, точно приклеенный, не мог теперь двинуться с места. Я почувствовал прикосновение руки Иллофиллиона выше кисти и в тот же момент приложил палочку ко лбу карлика, который вскрикнул, хотел её схватить, но пошатнулся и упал.

Я подумал, что он убит. Иллофиллион продолжал свой гимн и снова прикоснулся к моей руке. Я опять приложил палочку ко лбу карлика, тот вздрогнул, вытянулся и застонал.

Моё зрение, должно быть, утомилось от напряжения из-за яркого солнечного света, но мне буквально казалось, что изо рта карлика шёл какой-то черноватый пар.

Голос Иллофиллиона стал на тон выше, и в нём послышались такие повелительные интонации, что даже все павлины опустили головы к самой земле. Иллофиллион в третий раз коснулся моей руки. Я немедленно снова приложил палочку ко лбу карлика. Он сел, посмотрел с удивлением вокруг, встал на ноги, посмотрел на меня, на Иллофиллиона и вдруг, сморщив подростки лицо, заплакал горькими слезами.

Сердце моё надрывалось. Я готов был обнять его, чтобы успокоить, но уже другие руки сбросили сеть с бедняги и нежно гладили мохнатую голову. Иллофиллион поднял карлика на руки и держал его, горько плакавшего, у своей груди.

Франциск сделал знак руками, что-то громко сказал птицам, и они все перебежали ко второму карлику, окружив его плотным кольцом. Иллофиллион велел мне вложить палочку в чехол у его пояса и спрятать её в специальный узенький карман, совершенно не замеченный мною раньше на его одежде.

Теперь Франциск позвал меня к себе.

— Этот карлик добровольно оставляет своё грязное ремесло зла, Лёвушка. Пока я буду читать мою мантру, переноси всякий раз по моему указанию палочку с предмета на предмет во всей этой куче побрякушек, которую он сложил. Вот, возьми палочку. Когда вся куча распадётся и станет золой, подними сетку палочкой, возьми карлика за руку и выведи его сюда, совсем близко ко мне. И когда я тебе укажу, коснись палочкой его темени.

Я сделал всё так, как приказал мне Франциск, и эффект от вещей, превращавшихся в золу, был почти тот же, что и в Константинополе. Но только здесь всё ещё и склеивалось, точно ком смолы. Как только я коснулся темени карлика, он также хотел схватить руками палочку, пытался даже подпрыгнуть, но, как и первый, не достиг никаких результатов. Но этот карлик не

злобился, не плакал — он смеялся как ребёнок и выказывал все признаки удовольствия.

По указанию Франциска я поднял палочкой сеть и подвёл к нему карлика, который бросился к его ногам, обнимая их, и пытался выказать все признаки любви. Франциск поднял карлика на руки, как это сделал Иллофиллион, и велел увести всех птиц, за исключением трёх, которых сам выбрал. Он велел также позвать сестру Александру.

Когда я передал Франциску его палочку и подошёл к Иллофиллиону — карлик мирно спал на его руках. К приходу сестры Александры оба карлика уже спали; в таком состоянии они были унесены в ту комнату, где жил Макса.

Теперь поляна приняла свой обычный вид, все следы происходившей на ней борьбы Света и тьмы исчезли, и мы вошли в комнату Франциска.

Меня по-прежнему тревожили багровые пятна на его руках, но он сам их точно не замечал. Только я приготовился было сказать о них Иллофиллиону, как услышал его голос:

— Сядь, Франциск, я перевяжу твои раны. Иначе ты снова сляжешь.

Франциск и раны? Где же раны? Я недоумевал, не представляя себе, чтобы безмятежный, сияющий, правда бледный, но такой сильный и спокойный Франциск мог страдать от ран. Не возразив ни слова, Франциск сел на стул, и Иллофиллион отвернул рукава его одежды.

Выше тех мест, где были багровые пятна от рук крестьянина, на обеих руках Франциска были раны, точно обожжённые места, и на них уже выступали капли крови.

Никогда, ни до этого, ни потом, не приходилось мне переживать такого страдания. Франциск молчал, спокойно перенося муку, когда Иллофиллион накладывал повязки на кровоточившие руки. Лицо его сохраняло такое выражение, точно он пел славословие всей Вселенной, но я едва сдерживал слёзы.

Мне, как и крестьянам, которых он спас сегодня, Франциск казался святым. Почему же, зачем страдать святому? Мне хотелось подставить свои руки, только бы избавить его от страданий, только бы видеть это чудесное лицо в экстазе любви и доброты.

— Святым, Лёвушка, нечего делать на земле, я уже тебе это говорил. Могут быть на земле божественные посланники, но я не из их числа. Я — обычный грешный человек. И всё, чем я могу помогать людям, это только, в буквальном смысле слова, меняться с ними кровь за кровь. Но выше счастья и нет для человека на земле. Я не водитель человечества. Я простой человек. Мой путь доброты ведёт меня так, как это допускает живущая во мне Гармония. Не страдать ты должен, глядя на меня, но понять, что каждый

путь есть вековая карма, от которой отказаться нельзя. Вот и у тебя тоже карма: ты носишь дивный камень Учителя, который у него украли и который был осквернён, но потом снова очищен. Знаешь ты об этом или не знаешь — но велика твоя помощь тому, кому ты его возвратишь. И все мы, помогающие тебе развить в себе психические силы, нужные для того, чтобы носить его, а потом вернуть владельцу, все мы связаны огромной кармой благодарности и спасения с тем, кому ты должен возвратить этот камень.

Слова Франциска, как и всё виденное сегодня, не до конца были мне понятны. Но я ни о чём не спрашивал, я теперь уже знал, что когда настанет время, Иллофиллион расскажет мне всё, что я буду в силах понять.

Попрошавшись с Франциском, мы с Иллофиллионом покинули территорию больницы и возвратились домой.

Я шёл с трудом, Иллофиллион поддерживал меня и уложил в постель, как только мы вернулись в наш дом.

Через час Ясса повёл меня в ванну. Сам Иллофиллион давал ему указания, как делать массаж. Но и после ванны и массажа мне было не по себе. Пришлось снова лечь в постель.

Я даже не мог дать себе полный отчёт во всём происшедшем, не мог сообразить, который сейчас час. Меня всё больше охватывала слабость, озноб, и наконец я забылся в беспокойном сне.

ГЛАВА 4

ЗНАКОМСТВО С ДРУГИМИ ДОМАМИ ОБЩИНЫ. ОРАНЖЕВЫЙ ДОМИК И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Я проснулся, как мне показалось, от какой-то тяжести на плече и лёгких толчков по руке. Не сразу сообразив, где я и что со мной, я открыл глаза и тут же всю расхохотался.

Мой маленький друг, павлин, который теперь уже был не таким крошечкой, как раньше, забрался на моё плечо и преуморительно будил меня. Привыкнув ходить с нами купаться в определённый час, он давал мне знать, что пора вставать. Мало того, моя дорогая птичка не удовольствовалась лишь тем, что разбудила меня. Она соскочила с постели, подбежала к настежь открытой балконной двери, посмотрела вдаль и, выказывая признаки беспокойства, помахала крыльями, издавая резкие звуки, как бы о чём-то молящие, а потом вернулась к моей постели. Подёргав клювом моё одеяло, павлин снова подбежал к балкону и снова вернулся ко мне, издавая ещё более резкие звуки. Он старался дать мне понять, что хочет, чтобы я посмотрел, что именно его беспокоит.

Весело смеясь, я поднялся и подошёл к балкону. Каково же было моё удивление, когда я увидел вдали идущего по дороге к озеру Иллофиллиона, уже подходившего к скале, за которой он должен был сейчас скрыться. Я расцеловал моего заботливого друга, который радостно замурлыкал, чем ещё больше меня насмешил. Мигом одевшись и не забыв на этот раз тщательно расчесать свои локоны, чему меня обучил Ясса, я схватил в охапку простыню и павлина и помчался догонять Иллофиллиона.

Я чувствовал себя совершенно здоровым и в эти первые утренние минуты забыл или, вернее, не вспоминал о том, что было вчера.

Я уже настолько привык к жаре, что палящее солнце не составляло больше для меня мучения, как это было в Константинополе или у моего брата

в К. Теперь я мог идти очень быстро. Я почти обучился искусству ходить по пыльной дороге, не поднимая пыли и не уставая.

Когда я домчался до нижнего озера, я увидел Иллофиллиона, стоявшего возле одной из купален с каким-то высоким человеком. Стройная фигура незнакомца и его лицо были примечательны. Он не походил на туземца, хотя был брюнетом. Орлиный нос с очень красиво выгнутой горбинкой и другие характерные особенности его лица говорили мне, что это грузин, а по его походке, лёгкой, как бы танцующей, плавной, я угадал в нём горца.

— Лёвушка! — радостно обернулся Иллофиллион на громкое приветствие моей птицы. — Как это ты, соня, проснулся? Это надо отнести к ряду чудес, что нам с Яссой не пришлось тебя сегодня расталкивать, — смеялся Иллофиллион.

Он взял моего павлина на руки, а тот бесцеремонно взгромоздился ему на плечо и стал тереться головой о его щёку. Поглаживающий павлина по его чудесной спинке, рядом с горцем-орлом, на фоне синего озера, под ярким солнцем, Иллофиллион был так прекрасен, что я не смог удержать порыва моего восторга, обнял моего друга и молил его:

— Иллофиллион, миленький, не откажите мне! Я хочу иметь ваш портрет именно таким, здесь, у озера, утром, и с моим павлином на плече. Мне кажется, что ваша ласковость и энергия точно благословляют весь день, всех людей, посылая им силы творить и любить. О, Иллофиллион, не откажите мне! Я попрошу Бронского, чтобы его приятельница нарисовала мне вас таким. Только согласитесь позировать синьоре Беате.

— Ненасытный Лёвушка, мало тебе моего постоянного присутствия днём? Ещё и ночью я должен висеть над тобой! И снова, мой друг, ты проштрафился, выражаясь в соответствии с твоей манерой. Приведи себя в равновесие, освободись от чрезмерного восхищения моей персоной и познакомься с одним из моих и Али друзей.

Иллофиллион говорил так ласково, глаза его излучали такие потоки любви и радости, каких, как мне казалось, я ещё не замечал в нём.

— Это мой старинный друг, Лёвушка, мой сподвижник во многих делах, которого я давно не видел. Зовут его, для тебя, Никито, а фамилия его Давшчвили. А это — Лёвушка, граф Т., — представил нас друг другу Иллофиллион.

На лице незнакомца изобразилось удивление, он оглядел меня с головы до ног, посмотрел на Иллофиллиона и вдруг, точно что-то вспомнив и сообразив, закивал мне головой, очаровательно улыбнулся и протянул мне обе руки.

Его молчаливое приветствие, глубокое радушие, которое я ощущал всем сердцем, меня, в свою очередь, удивило. Что-то было в этом человеке осо-

бенное, мне даже подумалось, что он глухонемой, так пристален был его взгляд.

Протянув ему также обе руки, я посмотрел в его глаза, зная, что глухие и немые смотрят на рот собеседника. Но Давшчвили смотрел мне прямо в глаза. Взгляд у него был добрый, прямой, честный. Был ли он глухим, я так не понял, но услышал смех и слова Иллофиллиона:

— Ведь ты больше не немой слуга в горах Кавказа, Никито. Твоя привычка многолетнего молчания поразила Лёвушку, ждавшего от тебя словесного привета. Он, наверное, решил, что ты немой.

— Простите, — сказал мне Никито, — я так привык долго молчать в одиночестве, что теперь не сразу могу пользоваться речью, чем сбиваю с толку людей. Но на этот раз я знаю, что не только моя молчаливость смутила вас. Я не сумел скрыть своего удивления, когда услышал вашу фамилию. А удивился я ей потому, что много лет назад свирепая буря в горах привела под мой кров неожиданного гостя. Буря справляла пир чуть ли не целую неделю, дороги замело так, что путнику пришлось прожить в моей сакле всю эту неделю. Гость мой был офицером, и фамилия его была такая же, как и ваша.

В первый момент нашей встречи я не нашёл сходства между моим гостем и вами. Но несколько минут спустя я отчётливо вспомнил лицо моего гостя и могу поручиться, что он был вашим братом. Овал лица, разрез глаз и губ — всё одинаковое. Но кудри вашего брата светлые, как и глаза, вы же брюнет. У меня память на лица исключительная. Если бы Иллофиллион и не назвал мне вашей фамилии, я всё равно сам спросил бы вас о ней.

Давшчвили говорил по-английски с сильным акцентом. Я подумал, что он и по-русски должен говорить так же, не чисто. Мысль о том, что он был гостеприимным хозяином моего брата, а быть может, спас ему жизнь, сразу сделала Никито близким и дорогим мне. Всё ещё держа его руки в своих, я горячо сказал:

— Как я хотел бы слышать от вас, Никито, подробное описание тех дней жизни брата, которые он провёл с вами. Я так давно его не видел, так долго ещё не увижу, что был бы счастлив поговорить с вами о нём.

— Что же тебе нужнее в первую очередь, Лёвушка? — передавая мне павлина, спросил, улыбаясь, Иллофиллион. — Мой ли портрет или описание жизни брата Николая в доме у Никито?

— Конечно, Иллофиллион, ваш портрет мне нужнее, потому что в нём для меня символ всей жизни, которую я понял через вас. Владея вашим портретом, я надеюсь навеки запечатлеть его в сердце как путь счастья и силы, которые вы научили меня понимать. Если бы я теперь услышал, как прожил мой брат неделю в глуши гор, почти заживо похороненный в буране снегов, я понял бы, вероятно, многое иначе, чем до моей встречи с вами.

Символ белого павлина, который я видел на коробках Али, Флорентийца и моего брата...

Я не договорил моей фразы. Живой павлин, которого я держал на руках, взяв его от Иллофиллиона, вдруг точно прорезал какой-то туманный занавес в моей памяти. Я вспомнил вчерашнее. Вся картина поляны и двух фигур на ней — Иллофиллиона и Франциска, окружённых снежными кольцами павлинов с сияющими золотыми хвостами, — до того ясно и чётко вырисовалась в моей памяти, что я мгновенно забыл всё остальное и стоял, оглушённый потоком новых мыслей, новым озарением.

Вчера я не мог осмыслить всего величия труда, в котором участвовали птицы-братья, помогавшие вырваться своим карликам-братьям из цепей и мук зла. Не знаю и сейчас, сколько я простоял, пока воспоминания вихрем пронеслись перед моим мысленным взором. Я точно читал слова письма Али: «И пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для пользы и счастья людей». Резкая боль в пояснице — должно быть, я неловко повернулся — заставила меня прийти в себя. Опомился я окончательно только в купальне, на берегу нижнего холодного озера. Мой птенчик сидел у моего изголовья, а Иллофиллион и Никито сидели возле меня. В руках Иллофиллиона был флакон Флорентийца, я его узнал и понял, что, очевидно, дело не обошлось без моего обморока.

Как это ни странно, но когда я теперь смотрел на Никито, какие-то смутные воспоминания, что-то из далёкого детства, вставало в моей памяти. Мне казалось, что его лицо, такое сейчас заботливо-нежное, связывалось в обрывках моей памяти с горами Кавказа, с лошадьё, с каким-то путешествием, но ничего определённого я вспомнить не мог и в конце концов решил, что это снова штучки моей «дервишской шапки». Всё же, когда Никито прикоснулся ко мне, помогая встать, это прикосновение показалось мне знакомым.

— Ну, Лёвушка, попробуем искупать тебя в холодном озере, как рекомендовала Наталия Владимировна, — сказал мне Иллофиллион.

— Так она, дорогая моя приятельница, снова здесь? — Никито был очень удивлён, когда узнал, что Андреева не только снова здесь, но и живёт в доме первой ступени, как он выразился о нашем домике.

На мой вопрос, что значит «первая ступень», он ответил мне, что первых ступеней много, в смысле жизни Общины и в бытовом, и в духовном отношениях. Первая ступень, как её надо понимать в смысле дома, — это род распределителя, где человек не сам выбирает себе нравящееся ему место в жизни, а живёт именно там и так, как позволяют ему это его духовные силы. И именно эти силы определяют его место в Общине, не давая ему возможности жить иначе, в каком-либо другом доме Общины.

О себе Никито сказал, что живёт сейчас в доме пятой ступени, а много лет назад, уезжая отсюда, он жил в третьей. Но, возвратившись, теперь нашёл дом пятой ступени, которого даже не видел, когда жил в третьей.

Иллофиллион сказал мне, что, если я выдержу купание благополучно, он проведёт меня к тем домам Общины, где мои силы дадут мне возможность жить. Он прибавил, что можно обладать очень высокоразвитыми психическими силами, даже быть источником больших откровений для людей, и всё же, из-за недостатка гармонии в своём собственном организме, не иметь сил выносить вибрации тех ступеней, где атмосфера требует именно гармонии как начальной, исходной точки существования.

Человек, не справляющийся с рвущимися из него токами сил, задыхается в более высокой духовной атмосфере гармонии, останавливается перед нею, как перед самой плотной стеной, хотя внешних препятствий перед ним никаких не существует. Стена эта создаётся его собственными буйными и неупорядоченными энергиями, закрывающими пеленой его зрение, и духовное, и физическое. И человек даже не видит входа или дороги в те места, где находятся более развитые духовно индивиды, сумевшие сделать свою жизнь мирной и высокогармоничной.

Моё купание, к счастью, обошлось без неприятных последствий для здоровья, несмотря на то что температура воды по сравнению с воздухом была чрезвычайно низка. Возможно, что на самом деле разница температур и не была такой уж большой, но мне вода показалась просто ледяной. Когда я погружался в воду, она шипела, точно газированная, и покрывала всё тело слоем серебристых пузырьков. Даже когда я вышел из воды, всё моё тело было в них, как в серебряной броне, и к тому же я был красным как рак. Но зато после купания, всю дорогу по зною до самого дома, я ощущал прохладу и оставался нечувствительным ко всем каверзам жары.

Когда я вошёл в столовую, первой меня приветствовала Андреева:

— Ах, мистер шило-граф, до чего же вы изменились и похорошели за то время, что я вас не видела. Уж не купаетесь ли вы в нижнем озере?

— Вы очень точно угадали, Наталия Владимировна. Я выкупался сегодня в холодном озере, и переживания мои напоминают, по всей вероятности, чувства лохматого пуделя, брошенного с печки в замерзающий пруд. Хорошеют ли от этого, я не знаю, ещё не имел случая понаблюдать.

— Ох уж эти мне писатели, — вздохнула она, притворно делая несчастную гримасу. И вдруг как-то наморщила брови, распустила губы и придала доброе-предоброе выражение всему своему резковатому лицу — ни дать ни взять Ольденкотт.

Я так и покатился со смеху. Тут же мне вспомнилось, как Флорентиец изображал в парке в К. английского лорда при встрече с друзьями мое-

го брата, молодыми поручиками, — и смеху моему не было удержу. Сама же Андреева мгновенно переменяла игру лица на обычное своё выражение и наивно спрашивала Иллофиллиона, не знает ли он причины моего необычайного веселья. Иллофиллион ответил, что лично он не знает, но не сомневается, что это знает мистер Ольденкотт.

— О да, я знаю и не удивляюсь, что вашему другу смешно, — сказал входивший Ольденкотт. — Это так невообразимо — найти сходство со мной в лице Наталии Владимировны, что я и сам бы смеялся, если бы не боялся рассердить мою приятельницу.

Почему-то сегодня все окружающие вызывали во мне особенно острый интерес. До сих пор я общался в основном только с Бронским, помогавшим мне воспитывать моего птенца, и дружба наша всё возрастала. Благодаря его огромному знанию всего света и людей, которых он покорял своим талантом, а также благодаря его наблюдательности, внимательности и умению вовремя вспомнить нечто характерное из своих наблюдений он был интереснейшим рассказчиком и педагогом. Он говорил всегда образно, красочно, по существу, и от общения с ним росло и моё собственное понимание искусства и людей.

Альвера Черджистона я встречал только за столом, как и некоторых других, с кем я познакомился вначале. До сих пор моё внимание останавливалось только на том, что говорили мне Иллофиллион или Франциск. Но сейчас, после своих вчерашних переживаний на лесной поляне и сегодняшнего купания, я стал пылливо всматриваться в целый ряд лиц сидевших со всех сторон людей.

Впервые я совершенно чётко осознал, что все собравшиеся в Общине люди живут также своей внутренней, тайной для других жизнью и что их переживания здесь, вероятно, полны такими же чудесами, каким я вчера был свидетелем и даже действующим лицом.

Я слышал, что Андреева пишет труд огромного значения, что у неё есть своя особая миссия, для которой она здесь готовилась уже не раз, и теперь она снова готовится вынести в широкий мир целый поток новых знаний для людей. Услышанные же мной сегодня слова о ней Никито и Иллофиллиона ещё больше пробудили мой интерес. На ней остановились мои глаза, и я встретился с её взглядом, пристальным и... печальным.

Удивительно менялось это лицо! Точно вода на поверхности озера, оно отражало все колебания её духа. Только так недавно лицо это носило следы мальчишеской шаловливости, юмора, и черты его, грубоватые и нескладные, били в глаза своей непропорциональностью. А сейчас оно было тихо, спокойно, печально и — к моему изумлению — прекрасно. Я не могу подобрать иного слова. Оно было истинно прекрасно! Черты его смягчились,

точно их покрыла волшебная вуаль доброты, и взгляд её не сверлил и не жёг, а точно любил, благословлял, преклонялся. Мудрость озаряла её лицо, и если бы я в самом начале увидел *такую* Наталию Владимировну, я не узнал бы её потом в бурной и шумной подруге Ольденкотта. Её обаяние и очарование заворожили меня, а когда я вдруг услышал вместо резковатого мягкий, бархатный голос, я даже в первый момент не сообразил, что это говорит именно она.

— Не каждому дано войти в комнату Али. Не каждому дано принять участие в наивысшей помощи человечеству. Путь радости — это путь людей вовсе не обязательно совершенных, но непременно примирённых. А примирённые — это не только внешне спокойные, но и носящие мир внутри, в сердце. Можно быть преданным до конца, нести задачу большого значения, выполнять её успешно — и всё же не уметь подняться выше в степени своей гармонии. Не «шилами» вашими вы будете смотреть и видеть сегодня, но знанием, которое открыло вам живое, мирное сердце. Но печалиться о тех, чьи лица вам кажутся печальными, нет смысла. Чем печальнее встретившийся вам человек — тем сильнее должна быть ваша радость, потому что только тогда он может переложить на вас часть своей скорби. Скорбь и страх умирают в присутствии Мудрости. Не обо мне и моих тайнах думайте, но о тех минутах счастья, когда вы сможете находиться в полном самообладании рядом с любым человеком. Только тогда вы будете помощью всем нуждающимся в гармонии, когда научитесь радоваться, встречая печальных.

Андреева говорила тихо, голос её тонул в общем шуме, но я слышал каждое её слово так чётко, как будто бы она говорила мне прямо в ухо.

Завтрак кончался, когда я увидел подходившего к нам Никито. И снова смутное чувство, что я вижу этого человека не впервые, охватило меня. Пока он здоровался с Кастандой и Андреевой, я всё присматривался к нему, но никак не мог решить, где бы я мог его видеть. Среди встреч последних месяцев я такого лица не помнил. А между тем чувство близости к нему сейчас было во мне ещё живее, чем у озера.

Простившись с Андреевой, которую я сердечно поблагодарил за её слова, я поспешил за Иллофиллионом и Никито, уже вышедшими на аллею стройных и высоченных пальм. Мои друзья уже дошли по аллее до самого конца парка и повернули влево, на узкую тропу среди зарослей бамбука, который я до сих пор считал непроходимым.

— Вот так чудо, как здесь тенисто, прохладно! Вот где надо прятаться от жары. И как это мне не приходило в голову, что я могу найти проход в этих джунглях?

— Много раз ещё ты будешь так думать, Лёвушка, пока будешь жить в Общине. Так же ты будешь «открывать Америки» там, где раньше видел

один лес или горы. Мало того, ты будешь знать прекрасно местоположение того или иного дома здесь, но в зависимости от твоего внутреннего подъёма или падения ты будешь или точно находить их, или абсолютно терять к ним путь. Не исключена возможность того, что в один прекрасный день ты не найдёшь дороги к островку Али и не сможешь пройти в его комнату. Чистота и бесстрашие — первые условия духовного зренья.

Таким образом, чем шире идёт раскрепощение в человеке, тем скорее все его качества переходят в аспекты Единого, пока — по восходящим ступеням освобождения — весь Единый в человеке не загорится огнём. И вот по этим-то ступеням и построены дома в Общине. Здесь вообще уже нельзя встретить человека, колеблющегося между злом и добром. Здесь живут только те, в ком все аспекты Единого открыты и движутся. Но так как нет ни одного человека, у которого процесс духовного освобождения происходил бы так же, как он идёт у другого, то путь Света приспособлен *теми*, кто пришёл к совершенству раньше, для самых разнообразных возможностей всех тех людей, кто идёт за ними или ищет духовного освобождения самостоятельно.

Сейчас мы входим в дома второй ступени. Их здесь семь. Почему их семь и почему каждый из них разного цвета, об этом вам скажет Иллофилион, Лёвущка, когда для этого настанет пора.

При последних словах Никито мы вышли из бамбуковых зарослей и попали на чудесную поляну, где среди зелёного луга цвели самые разнообразные цветы. Многие из них были таких форм и красок, каких я ещё никогда не видел. Поляну пересекали в нескольких местах дорожки, лучеобразно расходившиеся в разных направлениях.

Иллофилион, шедший впереди, выбрал центральную, прямую дорожку, ведущую к холмам, поросшим пальмами и эвкалиптами. Когда мы поднялись на холм, я остановился в восхищении. За рядом холмов, на вершине одного из которых мы стояли, расстилалась широкая долина, с рядом очень красивых, больших, средних и совсем маленьких белых домов и домиков.

По другую сторону долины также возвышались холмы, которые были несколько выше тех, на которых мы стояли. Весь их скат был покрыт густым роскошным лесом всевозможных лиственных пород, но кое-где темнели и могучие кедры. Там и сям, как вкрапленные цветные камни, в зелёной оправе пальм и леса, стояли изящные домики самой разнообразной формы и цвета, причудливых и простых архитектурных стилей. Особенно пленил меня фиолетовый дом в стиле старинного средневекового замка с башенками, лестницами и балконами.

Стоявший среди яркой зелени, под блеском лучей, проникавших между деревьями, с широкой белой лестницей посередине и спускавшимися вниз

причудливыми, винтообразными, тоже белыми лесенками от боковых башенок, дом казался аметистовым.

Слева, также среди леса, выделялся дом красного цвета. Направо я увидел жёлтый, за ним синий, зелёный и оранжевый домики. Эта причудливость окраски в гуще листвы делала их похожими на цветы.

— Не правда ли красиво? — спросил меня Никито.

— Да, очень, изумительно красиво. Но, признаться, это как-то нечеловечески красиво. Здесь всё это гармонично, художественно и так просто, что принимаешь эту причудливость так естественно, будто так и должно быть. Но можно ли себе вообразить нечто подобное в условиях обычной жизни? Если бы кому-либо вздумалось построить себе в своей деревне этакий домик-фиалку или вон тот дом рубинового цвета, наверное, человека сочли бы выскочкой с дикими фантазиями или человеком плохого вкуса. Здесь же это выглядит совершенно очаровательно, и я готов был бы здесь век прожить.

— Многое в жизни, Лёвушка, кажется людям непонятным и даже невозможным только потому, что за всю свою жизнь они не видели некоторых вещей и потому отрицают само их существование. Точнее сказать, они проходили мимо очень многих великих вещей; но ни видеть, ни ощущать их не могли и — по невежеству своему — отрицали их.

Разумеется, если бы человек вздумал строить себе жильё, не заботясь при этом о гармонии со всем тем, что его окружает, и выстроил бы себе причудливый зелёный дом, прилепил бы к нему белые окна, жёлтый забор и красную крышу, он выказал бы только убогое понимание архитектуры и жалкий вкус. Здесь же ты видишь не только гармоничную однотонную цветовую гамму в каждом доме. Ты ещё видишь, что каждый дом исключительно соответствует по цвету и стилю массиву окружающей его зелени. И кроны деревьев, и окружающие дома, разнясь по цвету друг от друга, дополняют гармоничность каждого строения. Кроме того, всё, что ты видишь здесь перед собой, — это не порождение тех или иных условностей или чьей-либо фантазии. Это органические свойства человеческих жизней и судеб окрасили эти дома в тот или иной цвет. Вот, посмотри на этот красный дом. Он окружён розами, геранями, ползучими лилиями, красный цвет которых так ярок, что они кажутся горящими. Этот дом сам по себе белый, как и все те дома, которые ты видишь в той долине, где ты сам живёшь. Но люди, живущие в этом доме, покрыли все его стены излучаемыми из их аур эманациями любви — и дом этот горит, как кровь, и таким воспринимается тобой. Но если бы в тебе самом не было раскрыто духовное зрение и если бы ты сам не носил в себе живой любви, ты не мог бы увидеть того цвета, которым горят ауры людей, идущих путём любви, то есть луча красного

цвета. Ты видел бы просто белый дом или, ещё вероятнее, не увидел бы вообще ничего.

Постигни же и первое правило каждого из учеников, входящих в Общину второй ступени: ничего не рассказывать о том, что видишь и слышишь, кого встречаешь и кого оставляешь, без разрешения своего Учителя. Научись молчать, научись держать в тайне то, что Учитель не велел рассказывать. В данное время Учителем твоим являюсь я. Хочешь ли ты идти дальше под моим руководством до тех пор, пока сюда не придет Флорентиец, после чего ты пойдёшь за ним, уже будучи подготовленным к этому?

Я был глубоко тронут всем тем, что сказал мне Иллофилион.

— Если только вашей любви и терпения хватит на такого рассеянного ученика, то я буду счастлив, потому что всем сердцем люблю вас и давно уже в душе назвал вас моим Учителем. Я обещаю приложить всё моё усердие, всё внимание, чтобы облегчить ваш труд, мой дорогой наставник, мой верный друг и Учитель.

— Я рад служить тебе, Лёвушка, всеми моими знаниями и всею моею верностью любви и дружбы! Не пойми превратно моих слов о тайне ученического пути. Мы с тобой уже не раз говорили, что тайн в мире духовных сил нет. Есть та или иная степень знания, то есть та или иная степень освобождения. Поэтому все убеждения людей, их моральные принципы, их радость или уныние в отношениях друг с другом, доброжелательство или равнодушие, и тому подобное — всё зависит от степени их закреплённости в личных страстях или от их освобождённости. Субъективизм человека, под тем или иным предлогом, всегда служит явным и верным признаком его невежественности. Поэтому думать, что ты можешь кого-либо поднять к более высокому мирозерцанию, если приобщишь его к той или иной истине, раскрывшейся тебе благодаря твоему собственному труду любви, — это такое же заблуждение, как пытаться объяснить немзыкальному человеку прелесть песни. Отдавая другому самую драгоценную и неоспоримую для тебя истину, ты не достигнешь никаких положительных результатов, если друг твой не готов к её восприятию. А профанировать свою святыню ты всегда рискуешь. И не потому, что человек, которому ты её открыл, злобен или бесчестен. Но только потому, что он ещё не готов. Об этом говорится: «Не мечите бисера...»

С другой стороны, тот, кто прошёл все ступени освобождения, тот понял до конца *Любовь*, творящую в той части Вселенной, где он живёт. Когда он начинает понимать это творчество Любви, его духовному взору открываются все внешние покровы человека. И тогда он в состоянии читать в другом не только движение его мыслей в данное время, но и всю кармическую преопределённость его судьбы. Раскрывая тебе то или иное, я не могу не

видеть, что именно ты можешь понять сейчас легко и просто, что причинит тебе большое напряжение и чего ты не сможешь принять, так как в тебе ещё не раскрылись те начала, по которым могут и должны пронестись все твои индивидуальные силы, чтобы слиться с силами природы.

Есть целый ряд знаний, войти в которые может только сам человек. Ввести в них ничья посторонняя помощь не может. Развиваясь, освобождённый человек сам задаёт — свои собственные и по-своему — вопросы матери-природе, и она ему отвечает. Это не значит, что каждый, ещё ничего не понимающий в пути ученичества человек, способен ставить природе те вопросы, до которых он своим умничаньем додумался. Скажем, прочёл человек десяток-другой умных книжек, побыл членом, секретарём или председателем каких-либо философских или теософических или иных обществ, загрузил себя ещё большим количеством условных пониманий и решил, что теперь он готов, что он — духовный водитель тех или иных людей и что знания его — вершина мудрости. Здесь начало всех печальных отклонений, а также начало разъединения, упрямства, самомнения, споров о том, кто прав, а кто виноват. Вместо доброжелательства по отношению друг к другу и мира, которые несут с собой повсюду люди, духовно освобождённые, человек, ухвативший лишь мираж знаний, несёт людям раздражение и оставляет их в неудовлетворённости и безрадостности. Проверь и присмотришься. Тот, кто легче всех прощает людям их греховность, — всегда несёт окружающим в каждой встрече доброту, милосердие и мир. В них он каждую встречу начнёт, в них её и закончит. Тот же, кто вошёл в дом и принёс раздражение, тот всегда не прав, хотя бы свой приход он объяснял самыми важными причинами.

Мы стояли на вершине холма и смотрели на долину, когда из-за огромных кустов цветущих азалий показались два человека. Я тотчас узнал высокие фигуры Освальда Растена и Жерома Манюле. Иллофиллион познакомил меня с ними в первый же день приезда в Общину, и с тех пор я их не видел. Теперь я понял, что они жили здесь и поэтому я их не встречал в парке возле наших домов.

У меня мелькнула мысль о том, как было, вероятно, трудно Иллофиллиону, такому мудрому, жить всё время в обществе неуравновешенных людей да ещё иметь в самом близком общении такого болезненного и рассеянного ученика.

Вновь подошедшие радостно приветствовали Иллофиллиона, которому сейчас совсем иначе поклонились — глубоким поклоном, напомнившим мне поясной поклон монахов, тогда как в столовой, находящейся в парке, они приветствовали его общепринятым рукопожатием. Иллофиллион, отвечая на их приветствие, положил каждому из них руку на голову, точно благо-

словая их или призывая на их головы чьё-то благословение. Он указал им на Никито.

— Это тот брат с Кавказа, о котором я говорил вам и которому я поручаю вас как ближайшему наставнику. Завтра он придёт к вам, и вы работаете все вместе программу своих занятий. Кроме того, недели через две-три мы поедем в дальние отделения Общины, и если брат Никито найдёт возможным, он возьмёт вас с собой. Теперь же пройдёмте в ваш дом, чтобы Лёвушка мог увидеть вашу жизнь. Ему вскоре придётся перебраться сюда.

Мы стали спускаться с холма, пересекли долину и поднялись к оранжевому домику. Он особенно чудесно выделялся среди синих и белых цветов, тёмных клёнов, дивных огромных кедров и совсем сразивших меня своей красотой белых акаций. Точно колоссальные снежные шапки стояли эти красавицы, разливая вокруг упоительный аромат.

Как только мы вошли в калитку сада через прелестную изгородь, упавшую в цветах, нам навстречу выбежали два белых павлина, сидевших на возвышениях лестницы, среди живых цветов. Птицы были большие, красивые. Они показались мне очень спокойными, точно кто-нибудь специально занимался их воспитанием.

Оба павлина подбежали прямо к Иллофиллиону, который поднёс каждому из них по ломтю сладкого хлеба, приласкал их, улыбаясь, и сказал им какие-то слова. Перенеся хлеб в клювах, птицы вспрыгнули снова на свои места и только там начали клевать полученное угощение.

Очаровательный домик, в который мы вошли, имел большой холл, из которого поднималась вверх лестница, очень красивая, тёмного дерева, вся уставленная цветами вроде лилий и мимоз жёлтого, почти оранжевого цвета.

Мне вспомнилась лестница с жёлтыми цветами и бирюзовыми вазами в доме сэра Уоми в Б. Вспомнилась Хава, о которой я давно не имел вестей, а также Анна, на которой я видел однажды хитон такого же цвета, как эти цветы.

Мысли об Анне вообще не раз посещали меня, а сейчас я как-то особенно сильно ощутил её в моём сердце, думая о её несчастье и о своём счастье. Ведь она могла бы быть здесь, рядом с нами, вместе с Анандой, и жить этой волшебной жизнью, в которой купаюсь я.

— Уж не ждёшь ли ты, Лёвушка, чтобы наверху открылась дверь и сюда спустилась Хава? — оторвал меня от моего ловиворонства голос Иллофиллиона.

— Вы не ошиблись, Иллофиллион. Комната и лестница действительно вызвали во мне воспоминания о Б., доме сэра Уоми и, конечно, о Хаве. Но не о ней я задумался сейчас так глубоко, а об Анне. О милой, дорогой Анне, о её музыке, которой здесь так не хватает, и о её жизни в эту минуту. Мне

кажется, я согласился бы прожить отшельником и молчальником года два, лишь бы Анна стояла сейчас здесь, рядом с вами. Этот дом производит на меня не менее сильное впечатление, чем дом сэра Уоми. Что-то в нём очаровывает, пленяет меня, и здесь я чувствую на сердце такое же спокойствие, такую же радость, как при входе в комнату Али. Почему это?

— Скоро ты узнаешь этот дом ближе и, быть может, сам решишь этот вопрос.

Налево от холла была большая библиотека. Здесь было довольно много людей. Кое-кто перебирал каталоги, иные сидели за столиками и просматривали стопки книг, очевидно отбирая то, что им нужно. Некоторые расставляли книги по полкам, а другие читали, углубившись в текст и не обращая внимания ни на что. Особенно меня поразили две совсем молоденькие девушки, выдававшие посетителям книги за красивыми конторками, украшенными цветами.

Эта комната-библиотека была прекрасна. В ней было три больших венецианских окна, и вид из них на противоположную сторону долины и горную цепь был не менее прекрасен, чем из окон моей комнаты.

Девушки за конторками, получив требование на книги, бесшумно, точно скользя, проходили к полкам. Одна из них была совсем светловолосая, другая была шатенка, обе черноглазые, стройные и удивительно похожие. «Сёстры», — подумал я и только хотел спросить об этом Иллофиллиона, как та, что посветлее, увидела Никито и с криком «Дядя!» бросилась ему на шею.

Жизнь всей комнаты, такой оживлённой за минуту, замерла, точно по движению волшебной палочки. Все остановились в тех позах, как стояли или сидели. У меня тоже ноги словно приклеились к месту, а глазами я, как все, не мог оторваться от девушки, обнимавшей Никито и рыдавшей на его груди.

Что было в этом крике, так поразившем всех? Радость? Мольба? Нет, это был скорее вопль о прощении и счастье оттого, что беда миновала. Иллофиллион подошёл к девушке, притронулся к её плечу и ласково-ласково сказал:

— Лалия, о чём же ты плачешь? Ведь теперь уже нет препятствий, которые стояли перед тобой, раз дядя Никито вернулся. Если ты столько лет страдала от своей оплошности, то теперь видишь его живым и здоровым, выполнившим за тебя урок. Не создавай новой драмы, а постарайся забыть все скорби прошлого.

— О, Учитель, если бы не ваше милосердие, если бы вы не выбрали меня, этой минуты свидания никогда бы не было. Простите мои слёзы, я снова показала, что недостойна того, что вы и дядя для меня сделали.

Теперь Лалия стояла близко от меня, и я мог отчётливо видеть, что ей не могло быть более шестнадцати-семнадцати лет, а волосы её были... седые, совершенно, по-настоящему седые! Какую же драму должно было пережить это юное создание, чтобы её волосы стали белыми!

За Лалией стояла вторая девушка и, тихо улыбаясь, смотрела на Никито, ожидая возможности приблизиться к нему. В её чёрных глазах светилась не только любовь. Я почувствовал, что преданности её нет границ. Отстранив слегка Лалию, Никито протянул руку девушке.

— Ты, Нина, всё такая же скала, какою была в восемь лет, когда я оставлял тебя на твою старшую сестру. Если я ни разу не пал духом за эти семь лет, которые пробыл в разлуке с вами, в моём суровом горном ущелье, то образ девочки, ребёнка с горячим сердцем, был для меня не последним прибежищем, в котором я черпал силы. Спасибо тебе. Возьми Лалию, я приду к вам обеим через несколько часов.

Никито передал на попечение Нины всё ещё тихо плакавшую Лалию, которую та нежно обняла, стараясь утешить сестру. На предложение Иллофиллиона отпустить её домой и вызвать на работу кого-либо другого Лалия быстро отёрла глаза, низко, в пояс поклонилась Иллофиллиону и ответила:

— Простите ещё раз, Учитель, теперь я уже никогда больше не заплачу. Это были мои последние слёзы, слёзы, вечно лежавшие камнем на сердце от скорби, что моё непослушание сломало всю судьбу дяди Никито, спасшего нас с сестрой от смерти. Теперь я дышу легко, моё сердце освободилось от вечной печали о дяде. Я буду продолжать работать.

— Если бы все эти годы, дитя, ты не носила на сердце камень скорби и раскаяния, а хранила бы в душе образ своего дяди, посылая ему мысленно радость, бодрость и весёлый смех, ты бы наполовину сократила срок его жизни в горах, в разлуке с вами. Запомни это. И если сейчас ты находишь в себе силы работать — работай.

Весь под впечатлением неведомой мне драмы, я вышел из комнаты под руку с Иллофиллионом. Радужные чувства счастья, мира и спокойствия, испытанные мною при входе в этот дом, были потрясены точно грозой или грохотом снарядов. «Неужели же нигде в мире нет безмятежного спокойствия, нет гармонии, которые бы не потрясались драмами человеческих сердец?» — подумал я и услышал слова моего друга, как всегда словно заглянувшего под мою черепную коробку.

— Жизнь, Лёвушка, это борьба и вечное движение. Никакие стены не могут защитить от бунта страстей в самом себе. Раскрыть новую страницу жизни — это не значит дать обет и вступить в тот или иной орден, ранг или чин. Мир, безмятежный и незыблемый, приходит в сердце человека лишь тогда, когда Любовь его раскроется и он увидит, как в нём самом

и в окружающих его людях, цветах, деревьях, животных протекает волна *Единой Жизни*. Тогда пропадает и временное, условное в понимании человека. И сердце его уже не может замолкать для *Вечного* ни на одну секунду, и встречного он воспринимает без иллюзорной оболочки на глазах. До этих пор все люди подвержены драмам и трагедиям, колебаниям между иллюзиями личного и радостью *Реального*.

И всюду они вносят с собой свои взбудораженные аурические кольца. Совершенствование человека — это постепенное изменение его ауры. И аура изменяется только в труде повседневности. Вообразить себе, что обычный серый день земли — это серия тех или иных действий людей по отношению к человеку; удач или неудач, зависящих от расположения к нему или предубеждения окружающих, имеющих власть помочь ему своей протекцией или помешать, — это самая низшая ступень, где ещё не вошло в движение *творчество* духа человека. Такой человек ещё только мастер, делающий свой труд в тех или иных масштабах по сноровке и знанию элементарных требований одной земной науки, но он не тот вдохновенный артист, вносящий *сам своё* творчество в день, для которого *вся Вселенная* звучит. Причём звучит не радостью временного и преходящего, но любовью *Вечного*, где развязаны предрассудки земной жизни и смерти. А существует *одна вечная Жизнь*.

Проходи каждый свой день, видя в нём этап к пониманию Радости, звучащей в *вечной Жизни*. И тогда никакие тревоги и страдания людей не будут нарушать для тебя Гармонии, потому что твоя, *в тебе* живущая гармония будет прочней всех колеблющихся, неустойчивых сил, окружающих тебя. Храни об этом память. Этот дом — начало целого ряда домов такого же оранжевого цвета. Ты их увидишь разбросанными по парку, который ты до сих пор издали принимал за лес.

Всё это время мы стояли в находившейся направо от холла большой комнате, назначения которой я не понимал. В быту я назвал бы её диванной или предназначенной для курения. По всем её стенам тянулись диваны, обтянутые красивой оранжевой материей. У внутренней стены был сделан большой камин и стояло кресло, напоминавшее формой кресло в комнате Али. Пол был устлан циновками, очень красивыми по гамме оранжевых тонов и весьма изящного плетения.

Я хотел спросить у Иллофиллиона о назначении этой комнаты, но он взял меня под руку и повёл по лестнице наверх.

— Какая чудесная лестница! — не удержался я от восклицания, лишь только мы вошли на первую площадку. Запах от дерева и цветов был такой приятный, свежий, точно в свежестроенном доме, где от дерева исходит аромат чистейших эманаций солнца и воздуха.

— Здесь использована древесина кедров, эвкалиптов и камфарных деревьев. Все вместе они издают этот прекрасный запах. Сейчас ты войдёшь в мою комнату, Лёвушка, в такую же для всех остальных закрытую комнату, как и белая комната Али. Теперь ты настолько знаешь язык пали, что сможешь сам прочесть все изречения, начертанные на её стенах.

Я был поражён. Я представлял себе, что Али имеет в Общине свою комнату, так как он был хозяином имения и мог располагать в нём всем, чем хотел. И вдруг выяснилось, что у Иллофиллиона здесь тоже есть своя особая комната, куда запрещён вход остальным!

Мы поднялись на самый верх, пройдя мимо второго этажа, где было много дверей по коридору направо. Мы же свернули налево и по узкой, такой же ароматной и украшенной цветами лестнице попали в нечто вроде мезонина, вернее сказать, башни.

Комната была круглая, окна овальные, с выпуклыми стёклами, точно фонари. Балконная дверь была настежь открыта. Когда я подошёл к ней и взглянул вниз, я так и остановился, прикованный к месту.

Аллея высоченных, развесистых, густых елей, такая длинная, что ей, казалось, и конца нет, делила с этой стороны парк на две половины. И насколько охватывал взгляд, были видны маленькие домики, несколько озёр, а за ними снова лес до самых голых скал.

Пейзаж заканчивался сурово. В нём не было той радости и мягкости, которыми я любовался каждое утро. Но очарования в нём было не меньше. Я, разумеется, обо всём забыл, вышел на балкон и ещё больше поразился, рассмотрев, как был устроен балкон и построен сам дом.

Балкон состоял из двух переплетённых стволами деревьев, близко росших к стене дома. А стена дома, как и весь он, оказывалась скалой, в которой были выдолблены и обшиты деревом комнаты. Чем-то вековым веяло от этого балкона. Я впервые видел такие деревья, которые служили комнате балконом. Огромные, мощные, корявые, они буквально были осыпаны цветущими ветвями. Большие душистые кисти напоминали сирень, но были много больше, и цвет их был апельсиновым.

— Ты был так поражён, Лёвушка, что даже не прочёл надпись-изречение над входной дверью. А между тем она не менее замечательна, чем весь этот дом-скала.

— Простите, Иллофиллион. Я так перехожу от одной неожиданности к другой, что упустил самое главное, хотя вы и говорили мне о надписях.

Я стал искать написанное на стене изречение, но, кроме художественных орнаментов, ничего не находил. Я уже хотел перенести внимание на другую часть стены, как мне показалось, что я начинаю различать два тона орнамента. Присмотревшись ещё внимательнее, я нашёл и третий тон оран-

жевой краски и увидел ясно начертания букв пали. Но как связывались эти буквы, я никак сообразить не мог. Наконец я различил, что на стене были три надписи, одна над другой, и даже вскрикнул от радости, когда понял первые слова:

Не пытайся понять глубину смысла там, где не находишь помощи в собственном самообладании, —

прочёл я медленно, но без запинки первую надпись, в самом низу, наиболее густого тона оранжевой краски.

Глядя на человека, не измеряй его дух и высоту, но открывай ему твоих святынь дары и радость, —

читал я вторую надпись.

Обмирая от страха, не входи в знание. Только бесстрашный находит вход в храм истины, —

закончил я чтение третьей надписи над входной дверью.

Я уже отвернулся от входной стены, а слова всё ещё горели в моём сердце. Точно так же, как в первый день, когда я вошёл в комнату Али, я всё сохранял слова её изречений, как огненные знаки, в своём сердце.

— Прочти теперь надпись над балконной дверью. Я думаю, ты сможешь прочесть её не менее легко, — сказал Иллофиллион, положив мне на плечо руку.

Как странно я себя почувствовал сейчас! Впервые какое-то новое ощущение проникло в меня. Я ясно чувствовал, что в меня от Иллофиллиона вливалась какая-то сила, точно раскрывая мои духовные глаза.

В первые минуты я ровно ничего не видел над балконной дверью. Обшитая жёлтым деревом стена казалась совсем однотонной. Даже намёка на орнамент не было, и никакого различия в тонах я не замечал.

Внезапно что-то слегка, как электрическая искра, мелькнуло у меня в глазах. Я подумал, что, очевидно, яркое солнце повлияло на моё зрение. Я хотел уже прикрыть глаза рукой и пожаловаться Иллофиллиону на прилив крови к глазам, как заметил, что искра на стене разгорелась, вытянулась в палочку и через миг вскрылась большая пылавшая буква, за ней другая, третья — и я прочёл целое слово. Вся моя душа наполнилась счастьем. Я не мог двинуться с места. Каждая вновь зажигающаяся буква приводила меня в такой восторг и давала ощущение такой чистой радости, какие я испытывал только в детстве, на руках брата Николая. Я прочёл фразу:

Мишение, лесть, зависть и лицемерие отсутствуют в сердцах тех, кто вошёл сюда. Тот, кто читает знаки огня, пробудил в себе огонь. Однажды прочитав слово огня, ученик не может больше отдавать время безделью. И язык его теряет жало осуждения и язвительности.

Надпись погасла. Иллофиллион повернул меня влево, и я сразу увидел целый ряд горящих слов.

Путь — сам человек. Его труд — его жизнь в веках. В каждое мгновение протекает его мир в сердца окружающих. Не разрывая огня в себе, ученик передаёт свой свет каждому встречному, если овладел, любя, своим огнём. И гармония каждого устанавливается крепче, и растёт бесстрашие встречного.

Моё счастье, моё благоговение возрастало по мере того, как я это читал. И эта надпись погасла. Иллофиллион повернул меня вправо, и я увидел ряд слов, горевших не тем ровным жёлтым огнём, которым светились только что прочитанные мною изречения, а целой феерией красок. Слова горели, как волшебный фейерверк, белым, синим, зелёным, жёлтым, оранжевым, красным и фиолетовым огнями.

Это зрелище было захватывающе прекрасно, огоньки дрожали и переливались, мерцая красками, словно проникавшими одна в другую. У меня не было сил оторваться от этого видения, и, если бы не лёгкое прикосновение Иллофиллиона к моему лбу, которым он, вероятно, хотел мне напомнить, что я пришёл сюда не любоваться, а читать, я бы так и стоял «Лёвушкой — лови ворон». Я сменил своё восхищение на полное внимание и легко прочёл:

Нет людей — перлов чистой воды. Путь освобождения проходит по всем лучам, коих семь. В каждом сознании живут зачатки всех семи, но преобладает какой-нибудь один. Тот, кто имел силу пройти в дом света, носит в себе всякого луча оживший аспект и потому может видеть в каждом его свет и мир. Перед каждым открыта дверь всех семи лучей. И никто не оставлен без внимания. Готов человек — готов ему и учитель.

Дивные лучи погасли. Я показался себе вдруг таким обедневшим, и всё вокруг точно померкло, стало казаться серым и бледным, и само сияющее солнце стало как будто менее ярко.

Иллофиллион вывел меня на балкон.

— Ты прочёл, Лёвушка, руководящие слова, предназначенные для входящих во вторую ступень ученичества. Понял ли ты из этих надписей, что основные оси держат на себе все другие качества человека этой ступени:

первая — бесстрашие и вторая — полное самообладание. Какие бы таланты ни развились в человеке, какими бы великими качествами духа и сердца он ни обладал, если его бесстрашие не цельно, если его самообладание не даёт ему полного спокойствия во *все* минуты жизни, он не войдёт во вторую ступень ученичества.

Мгновение *встречи* с другим человеком для ученика второй ступени — это самое значительное и огромное *действие его собственного духа*. Не то важно, с чем, с каким делом ты встретился или какой человек к тебе пришёл. Важно, *как ты сумел пронести в его ауру свой свет* и проникнуть к *его свету*. Важно, как влились в него *твои* любовь и мир, *твоё* ему утешение.

Для ученика второй ступени уже нет морального кодекса законов обычных людей, законов одной земной жизни. Для него есть закон *Любви*, закон *всей Жизни*. И поступки его честны, высоки и прекрасны не потому, что закон морали требует подобной этики в его поведении. Но потому, что дух его *слит* с огнём *Вечного* и поступки его могут быть только единением в красоте, ибо они являются движением его собственной Вечности, *его оживших* аспектов Единого, в себе носимого.

Я не спрашиваю тебя, готов ли ты ко входу в то святая святых, которое зовётся «вторая ступень». Если бы ты не был готов, ты не смог бы прочесть светящейся надписи в комнате. Но не думай однобоко. Не предполагай, что здесь ты встретишь только тех, кто способен *сам читать* огненное письмо. Это далеко не так. Во второй ступени *не может* быть иных людей, кроме тех, которые достигли бесстрашия и полного самообладания. Это истина непреложная. Но *как* они их достигли, *чем* оказался их путь освобождения, *какие силы* в них развились — кроме этих двух непреложных осей, — это всё у каждого было по-своему, индивидуально, неповторимо. Редко человек — ученик второй ступени — читает и пишет сам слово Огня. Чаще всего, практически всегда, он имеет возможность получать весть наставника через какой-нибудь провод, или канал общения, создание которого начинается с раскрытия в человеке его психических сил. Твой путь был начат с этого. Ты — счастливый слуга и друг твоих наставников, ты можешь помогать им облегчать жизнь тех, кто идёт рядом с тобой, в их духовном росте на трудном пути земного воплощения. Перед тобой лежит один из счастливейших земных путей — путь *радости*. Ты никогда не принесёшь человеку весті скорбной, но всегда войдёшь в его жилище вестником мира и помощи. Разжигая костёр твоих талантов, великое Милосердие вводит тебя в новое понимание смысла и труда земной жизни.

Сегодня ты прочёл: «Глядя на человека, не измеряй *его* дух и высоту, но открывай ему *своих* святынь дары и радость». Прими, мой дорогой и любимый друг и брат, к великому руководству в простом обычном трудовом дне

эти великие слова. В каждой встрече помни о своём счастье: ты живёшь, зная, ты живёшь, держа руку Учителя в своей руке, ты живёшь в постоянном кольце верных защитников и помощников. И их верность тебе всегда лежит на твоей верности им.

Голос Иллофиллиона, его лицо и вся фигура сияли так, что мне даже комната казалась ярче. Мы вышли из дома, спустившись снова по ароматной лестнице в аллею, которую я видел с балкона и принял за аллею елей. Теперь я увидел, что это были не ели, а кедры, наполнявшие своим смолистым запахом всё пространство вокруг.

— Как прекрасна Жизнь! — воскликнул я, совершенно забыв о себе, о личностях других людей, об их качествах. Для меня звучал один Гимн Вселенной: Гимн Торжествующей Любви.

Мы долго шли по аллее, изредка встречая кланявшихся Иллофиллиону людей, но никто не прерывал нашего молчания. Для меня невозможно было бы сейчас слушать человеческие слова, так я был слит со всей природой. Мне казалось, что я вижу, как растут цветы и травы, как струится сок по стволам и иглам деревьев. Так, молча, мы дошли до конца аллеи, и впереди уже виднелось озеро. Но Иллофиллион свернул налево, мы прошли через длинный грот и вышли к совершенно неожиданному пейзажу.

Я увидел точно такой же островок, как в нашей части Общины, где была белая комната Али. Островок был так же соединён мостиком с аллеей, по которой мы теперь шли, — теперь уже из могучих широколистных пальм.

Когда мы вошли на мостик, сквозь заросли цветущих жёлтых деревьев, точно таких же, на какие опирался балкон комнаты Иллофиллиона, где я только что читал написанные на стенах изречения, — я увидел точную копию домика Али, только густого оранжевого цвета. Я ни о чём не спрашивал Иллофиллиона. Мы пересекли узенькую тропку между густыми зарослями жёлтых деревьев и вышли к прекрасной лужайке, пестревшей разнообразными цветами и окружавшей домик со всех сторон.

Как только мы подошли к лужайке, навстречу нам выбежал белый павлин, а от стены дома поднялся пожилой человек в оранжевой чалме и восточной одежде. Иллофиллион приветливо с ним поздоровался, поговорил на языке, которого я не понимал, и я ещё раз поставил себе на вид свою невежественность. Иллофиллион остановился перед домом и сказал мне:

— Здесь ты увидишь тот живой Огонь, слова Которого ты читал в моей тайной комнате. Та комната — место моего труда, моих встреч со всеми учениками, идущими путём моего луча. Но не каждый, кто имеет силу войти туда, имеет силу и чистоту сердца, чтобы войти в этот дом и быть подведённым к Огню Вечности. Силой Огня — неугасимого Огня Любви — зажигаются буквы, которые ты читал в моей комнате. В этом же доме, на

жертвеннике, горит этот священный Огонь. Войти в то помещение, где Он горит, может лишь тот, кто сам дошёл до такой чистоты и верности, которые не могут быть ничем поколеблены. Ничьё милосердие, ничьё сострадание, ничья помощь не могут помочь человеку войти туда. Только *сам* человек, *своей силой духа*, может туда войти.

Читай, друг, чем приветствует тебя первая надпись над входом в дом. Эта надпись всё время меняется и даётся человеку *так*, как его собственный труд в веках сформулировал её. Читай же теперь, что ты сам создал для себя.

Я поднял голову вверх. Первое, что я увидел, был белый павлин с чудесно распушенным хвостом, сверкавшим золотом на солнце. Я удивился, как мог я не заметить птицы в её очаровательном уборе минуту назад, хотя смотрел на входную дверь и видел над нею круглое выпуклое окно, которое теперь закрывал павлин. Над его сияющим оперением жёлтым светом горело: «Входи, храня вечную память о труде своём в веках. Тебя приветствует здесь благодарность тех, кого ты когда-то давно спас, и их благословение. Их сердца сейчас ждут возможности отдать тебе свой долг благодарности и в свою очередь стать тебе, странник, защитой и помощью».

Я был глубоко тронут этими словами приветия; я никак не ожидал, что они будут обращены лично ко мне. Я не понимал их истинный смысл, но, взглянув на Иллофиллиона, понял по его лицу, что все вопросы разрешатся в дальнейшем.

Но *как* я это понял, я и сам не знаю. Иллофиллион уже не был тем прежним наставником, которого я так хорошо знал и которого я видел сияющим в его тайной комнате, находящейся в высеченном в скале доме. Это было существо неземного мира. Что-то божественное, превосходившее все обычные земные представления о красоте и любви, исходило от него. Он был весь воплощением самой Любви, в которой я уже не мог существовать как существо с обыденным сознанием. Но я понимал его, потому что в тот момент находился в состоянии сверхсознательного вдохновения, где обычные слова уже не имели смысла.

Иллофиллион взял меня за руку и повёл вверх по лестнице, сделанной из яшмы, как мне показалось. Ступени, стены — всё говорило о большой древности этого здания. Я не шёл, а точно летел, до того лёгким я ощущал своё тело.

Когда мы поднялись на верхнюю площадку, два человека в длинной белой льняной одежде, подпоясанные золотыми шнурами, подошли к нам, низко кланяясь Иллофиллиону. Я сначала не узнал их, и только когда один из них взял меня за руку, я узнал в нём Никито. Бог мой! Как мог он так перемениться? Его волосы вились и ниспадали седеющими локонами на пре-

красный лоб и длинную обнажённую шею. Лицо, тёмное от загара, было прекрасно, как античный скульптурный портрет.

Я взглянул на второго человека, также взявшего меня за руку, и поразился ещё больше. Это был Зейхед-оглы, араб-проводник, подаривший мне птенца павлина и выказывавший мне всё время столько незаслуженного мной внимания.

Оба они провели меня в комнату, где был бассейн с проточной водой. Они указали мне на него, и Никито сказал:

— Позволь мне, как бывало в детстве, на Кавказе, раздеть тебя и помочь тебе совершить омовение в этой воде, прежде чем ты наденешь священную одежду и войдёшь в зал алтарей. Ты забыл меня, вернее, не узнал при нашей встрече у озера. Я же счастлив теперь возратить тебе вековой долг моей благодарности. Чтобы войти в число учеников второй ступени, тебе нужны два поручителя. Достичь этой ступени можно только своими личными усилиями. Но помощь могут оказывать человеку все любящие его друзья. Разреши мне заплатить тебе мой кармический долг в эту счастливую минуту твоей жизни и стать тебе слугой и другом. Я беру на себя поручительство за тебя в твоём новом пути и буду служить тебе век громоотводом и охраной от твоей раздражительности. Я буду заранее принимать в свою ауру все удары твоего гнева и вспыльчивости, чтобы рост твоего самообладания не нарушался ни на минуту.

— Я, со своей стороны, — сказал араб, — принимаю на себя счастье поручительства, возвращая тебе старый долг за спасение моей жизни от тёмных сил. Я был когда-то карликом, и когда меня преследовали враги, ты, бывший тогда ребёнком, укрыл меня среди своих игрушек и защитил своим телом от смерти. Теперь я буду облегчать тебе каждую встречу с печальными людьми, беря на себя часть их скорбей, чтобы твоя радость могла свободно проникать в их сердца.

Когда я вышел из бассейна, вода которого оказалась почти горячей, оба мои друга одели меня в такую же льняную одежду, в какой были сами, подпоясали золотым шнуром и расчесали мои кудри. На ноги я надел жёлтые сандалии, тоже точно такие же, в каких были мои друзья. Взяв меня за руки, они подвели меня к двери, у которой стоял Иллофилион. Он тоже был в белой одежде, но сделана она была из такой же материи, какую Али подарил моему брату в день свадебного пира в К. Одежда была расшита вся — внизу и по бокам, на рукавах и на вороте — золотом. На его голове был венок из жёлтых цветов, а в руках — та же палочка, которую я видел у него на поляне, во время раскрепощения карликов. Когда я подошёл к порогу настезь открытой двери, я увидел у своих ног на полу горящие буквы:

Мой дом — всюду. Сердце человека — мой дом.

Здесь дом мира и света. И входящий сюда найдёт дверь только тогда, когда создал в себе мой дом. Бесстрашно вступай в море моего огня, если сердце твоё чисто. И пламя моё не сожжёт тебя, но закалится речь твоя в ясности и силе.

Я шагнул прямо на горевшие слова, ожидая, что их огонь обожжёт меня. Но, к моему удивлению, он мгновенно потух, едва я ступил на него.

Теперь Иллофиллион взял меня из рук моих поручителей и подвёл к одному из узких высоких столов, выполненных из оранжевого мрамора, такой же формы, какую имел стол, находившийся в комнате Франциска; только у последнего этот стол был почти красным, так много было в мраморе розовых и алых прожилок.

Иллофиллион поднял крышку стола, и я увидел под нею низкий жертвенник, на котором горел огонь и перед которым стояла высокая топазовая чаша. В ней клубилась жидкость, похожая по цвету и консистенции на огонь.

Иллофиллион погрузил палочку в эту чашу с жидким огнём и поднёс её к настоящему огню, который ярко вспыхнул, затем, точно что-то напевая, чего я не разбирал, он коснулся моего темени. Это был не удар, конечно. Но прикосновение это причинило такое содрогание всему моему организму, что я не устоял и упал на колени. Оба мои поручителя положили свои руки мне на голову, на то место, где меня коснулась палочка Иллофиллиона. Я почувствовал, точно из меня в их руки тянется струя энергии.

Они подняли меня и повернули спиной к Иллофиллиону. Теперь Иллофиллион коснулся меня два раза под обеими лопатками. На этот раз действие палочки было таким же сильным, но я не только устоял на ногах, но почувствовал очень странное ощущение, точно у меня за плечами выросли крылья. Новая сила вошла в меня, и снова я почувствовал, как связываюсь с моими поручителями невидимыми, но крепчайшими нитями.

Иллофиллион сам повернул меня лицом к жертвеннику. Теперь огненная жидкость в чаше не клубилась, но из неё вилась спиралью огонь зелёного цвета, а огонь на жертвеннике, за чашей, разделился на три языка: в середине — оранжевый, слева — белый и справа — зелёный.

Опустив снова палочку в чашу, горевшую зелёными спиралями, Иллофиллион поднёс её к зелёному языку огня. Тот ярко вспыхнул, вся палочка точно запылала зелёным цветом, затем Иллофиллион поднёс её к белому огненному языку, и белый язык огня загорелся на палочке рядом с зелёным. Иллофиллион поднёс палочку к жёлтому языку огня — и на палочке образовался трезубец огней, — с зелёным в центре, с белым и жёлтым огнями по бокам.

Иллофиллион взял с жертвенника нечто вроде золотой булавы и, держа её в одной руке и палочку в другой, поднял вверх обе руки, продолжая напевать или произносить речитативом что-то, чего я всё так же не мог понимать.

Вдруг я отчётливо услышал: «Флорентиец, Флорентиец, Флорентиец», трижды повторенное дорогое мне имя моего любимого и далёкого друга.

И в то же мгновение я увидел Флорентийца стоящим за жертвенником в белой одежде.

«Али, Али, Али», — снова разобрал я в напеве Иллофиллиона. И через мгновение увидел Али стоящим рядом с Флорентийцем.

Я уже приготовился к тому, что сейчас устами Иллофиллиона будут вызваны и Али-молодой, и мой брат Николай, как от образа Флорентийца, от его лба, горла, пупка, плечей и сердца протянулись огненные с зелёным оттенком нити и соединились с зелёным огнём палочки.

От образа Али, из тех же мест, потянулись нити белого огня и прилипли к белому языку палочки.

Иллофиллион поднёс булаву к огням палочки, раздался сильный сухой треск, и все огни с палочки перешли на шар булавы, а потухшую палочку Иллофиллион положил на жертвенник. От самого Иллофиллиона — всё из тех же мест, как и от фигур Али и Флорентийца, — пошли оранжевые нити к булаве. Иллофиллион поднял булаву высоко над головой и пропел какую-то мантру, которую сопровождала дивная музыка.

Закончив пение, Иллофиллион повернулся ко мне, я и мои поручители опустились на колени, и булава коснулась моей головы. Точно удар грома опустился на меня, я весь содрогнулся. Но это продолжалось одно мгновение.

Мои поручители подняли меня с коленей. Теперь я чувствовал себя сильным, обновлённым, точно сразу выросшим — как будто все мои сухожилия вытянулись, все нервы и связки освободились от какой-то тяжести. Мои ощущения были исключительно необычными. Мне казалось, будто до этого момента я жил, весь покрытый какими-то узлами и корками, а сейчас всё очистилось, открылись все поры и я дышу, ощущая, как атмосфера комнаты сливается с каждой клеткой моего тела. Я взглянул на Иллофиллиона и увидел, что булава в его руках погасла, а все три огненных языка теперь горят на его темени среди венка из оранжевых цветов.

Огненные нити, которые соединяли меня с Флорентийцем, Али и Иллофиллионом и были вначале тоненькими, дрожащими, теперь стали плотными огненными струями. Я чётко ощущал, как они проникают в моё тело, освежая, облегчая мою новую жизнь, устанавливая во мне гармонию. Иллофиллион обнял меня, подвёл вплотную к жертвеннику, взял мои руки в свои и сказал:

— Храни чистоту этих рук, им дана сила радости передавать слово огня рядом идущим.

Он положил свои руки на мои глаза и снова сказал:

— Храни чистоту глаз своих. Живи легко, понимая скорбь земли как неизбежный этап освобождения. Ни одна слеза печали да не прольётся из глаз твоих, ибо каждая слеза — упадок духа, эгоистический порыв, хотя бы человеку казалось, что он не о себе плачет, но сострадает другому. Сострадая до конца, человек излучает мужество из своего сердца, и только такое сострадание помогает восстановиться шаткой гармонии встречного.

Очам духа твоего дано видеть внутреннее, духовное царство человека. Храни в чистоте очи телесные, чтобы покровы условной любви не затемняли зрения твоих духовных очей. Иди в чистоте духовной связи с теми самоотверженными тружениками светлого человечества, которые сейчас приносят тебе свою помощь, защиту и любовь перед огнём Вечного. Носи искры их огня в своём духе и сердце. И не в высоких словах, но в простом труде обычного дня передавай встречным и трудящимся рядом с тобой доброту, мир и радость.

У тебя уже нет возможности воспринимать дела и людей лично. Каждая встреча — всё путь Отцов твоих, взявших тебя сейчас в духовное сыновство, — к Единому во встречах твоих. Для тебя нет иного пути по земле, кроме как вводить других через мост бесстрашия и мужества в то кольцо огня, в каком ты стоишь сейчас.

Голос Иллофиллиона умолк. Я опустил глаза и увидел, что вокруг всех нас на полу горело кольцо трёхцветных огней, охватывая все наши фигуры и жертвенник как бы высоким забором.

Иллофиллион взял мои руки и погрузил их в огонь на жертвеннике. Я снова на миг вздрогнул, но тотчас же блаженное состояние тишины, счастья и высочайшей любви охватило меня. Иллофиллион трижды наклонил мою голову, точно купая её в огне, — и я ещё больше содрогался телом и успокаивался — точно рос и поднимался духом.

Иллофиллион обнял меня, прижал к себе — и я взлетел вместе с ним в какие-то высоты, где я не различал более, что было я и что было не я, и слов для передачи моего ощущения блаженства и счастья найти невозможно.

Когда я очнулся, у меня было такое чувство, точно я снова влез в футляр человеческого тела. Моё состояние за миг до этого было до того лёгким, радостным и блаженным, что теперь я опять почувствовал себя весомым и тяжёлым.

Оглядевшись, я увидел, что жертвенник был закрыт мраморной крышкой, в комнате находились только Иллофиллион и мои дорогие поручите-

ли, Никито и Зейхед. Я нигде больше не видел моих высоких покровителей и друзей — Флорентийца и Али. Почему-то я вспомнил, как видел Флорентийца в бурю на корабле таким же светящимся белым облаком, каким я видел его здесь несколько минут назад.

— В эту минуту, Лёвушка, ты осознал, как стираются границы между землёй и небом. Для тебя открылась *Единая, всеобъемлющая жизнь*. Ты понял, что нет условных границ, обозначаемых столь же условными терминами: «смерть», «рождение», «жизнь», принятыми в земном бытии в качестве понятий, обозначающих отдельные этапы жизни, связанные с разлукой и её горем или со счастьем и его заманчивыми иллюзиями. Твой опыт сегодня вынес тебя за все условные грани, и ты постиг величайшее счастье: *знание вечной жизни*. Тебе стало понятно, что жизнь данного твоего воплощения — это то «сейчас», в котором тебе надо пройти часть вечного пути раскрепощения от страстей.

А сейчас пойдём со мной, тебе предстоит найти среди многочисленных, лежащих на столах книг свою, единственную, неповторимую для других Книгу жизни. Каждый ищет и находит её в этой комнате только сам.

Я оказался среди множества высоких столиков оранжевого мрамора, похожих на церковные аналои. Сначала я видел на них только книги всех оттенков оранжевого цвета. Все они были одинаковы, и ни от одной из них не шёл ко мне ни единый признак жизни.

Тишина комнаты и молчание Мудрости в лежавших передо мною книгах наполнили моё сознание величием спокойной святости, точно я ходил среди трепещущих сердец, закрытых в этих больших, тяжёлых на вид книгах. Но все они оставались для меня рядом чудесных тайн, где моему сердцу не было места.

Я шёл всё дальше. Иллофиллион и мои поручители следовали за мною на некотором отдалении. Теперь я стал различать книги разного цвета: красного, синего, фиолетового.

Вдруг мой взгляд упал на большую зелёную книгу, закованную в нефритовый переплёт, чудесно отделанный малахитом. Точно теплом повеяло на меня от этой книги. Я буквально бросился к ней, наклонился над переплётом и увидел на нём прелестно сложенного белого павлина из мелких-мелких белых и зелёных камней. Глаза павлина были красные, а хвост — из самых разнообразных камней жёлтого цвета: от светло-жёлтых бриллиантов до самых тёмных топазов. Рисунок напоминал записную книжку моего брата, которую я нашёл с Флорентийцем в комнате Николая в К. и которую я свято хранил в саквояже Флорентийца до сих пор.

Тепло, шедшее ко мне от книги, которое я почувствовал ещё издали, теперь окутывало меня всего. Я положил обе руки на зелёный переплёт,

прильнул лбом к белой птице, изображённой на нём, и мне казалось, что в этот момент сердце Флорентийца излучает на меня свою любовь.

Я был счастлив. Счастлив в полном смысле этого слова. Я ощущал себя совершенно свободным от всех условных скреп личного, так сильно державших меня в своём кольце до сих пор.

— Раскрой книгу, друг, и прочти, какие обязательства ты уже брал на себя в веках до этих пор. Те, которые ты выполнил, уже сошли со страниц твоей Книги жизни, оставив листы чистыми. Те же, что ты когда-то взял и не выполнил, горят на страницах, как огненное письмо. Те обязательства, которые ты давал в этом воплощении, ждут сейчас подтверждения твоею любовью и верностью. И если ты их подтвердишь, они тоже загорятся огненным светом, хотя в эту минуту их еле можно прочесть, вроде следов старинных чернил. В этот важнейший момент твоей жизни ты можешь просить за своих друзей и врагов. Ты можешь вписать сюда сейчас те обязательства, которые диктует тебе Любовь, бурно живущая в этот миг в твоём сердце.

Иллофилион умолк. Я раскрыл книгу и заметил, что много чистых листов её переворачивались вместе, будучи как бы склеенными. Я понял, что это были следы моих вековых трудов и карм, давно законченных в прошлых моих жизнях. Ещё несколько листов перевернулось так же, и наконец я увидел отпавший лист, на котором среди чистого белого поля горела фраза: «Я найду полное самообладание, чтобы служить Учителю моему долго, долго, долго».

— О, Иллофилион, как же я виноват перед Флорентийцем и перед вами! Я даже забыл, что давал уже это обещание, и остаюсь всё тем же невыдержанным человеком! Я трижды подтверждаю сейчас мою верность этому обещанию — проходить мой жизненный путь в любви и такте.

Как только я произнёс мои слова, надпись погасла, листы сами перевернулись, и на новом месте загорелась ярким огнём та же надпись, а ниже засияла как бы скрепляющая моё обещание подпись: «Флорентиец».

Через мгновение листы книги перевернулись несколько назад, и я увидел на одном из них точно плавающие знаки от старых чернил, размазанных слезами. Я прочёл:

«Буйное, бездонное горе, когда сердце и мозг тонут в море слёз и печали, да не придёт больше в моё сознание. Я понял всю бездну человеческого горя. Понял её как путь, ведущий к освобождению. Понял, принял, благословил».

Будь благословен, мой страшный враг, отнявший у меня всё, что я любил и имел. Будь благословен! Да не лягут слёзы мои скорбями на твоём пути. Но пусть они вырастут цветами и украсят путь твой радостью.

Иди по пути радости и пройди в путь Света. Я же обещаю не лить больше слёз горя и скорби. Если же слабость моя будет так велика, что я не смогу удержать слёз, — то пусть льются слёзы радости, Господне вино!

Благословляю день и час смерти всего мною любимого. Да останусь я один на земле, свободным от всех привязанностей личного. Буду лишь слугою все-му встречному; в качестве слуги моего Учителя да пройдут мои дни земные».

Я был так глубоко растроган словами, которые читал, как бы выступавшими из моря крови и слёз, что опустился на колени и сказал:

— Если я не выполнил моего обета до сих пор, то да будет эта моя жизнь посвящена полной любви к моему врагу, заботам о нём и его семье, если она у него есть. Я хочу принести ему мир. Хочу сделать цветущий сад из его сердца, если в нём ещё царит бесплодная пустыня.

Я поднялся с колен и прочёл на чистом листе засиявшее мне слово:

«Твой враг при тебе. Ты встретил его в образе птенца белого павлина, переданного тебе на хранение, заботу и воспитание. С семьёй врага твоего ты уже встретился: это те два карлика, которых ты помогал вырвать из сетей зла.

Мужайся, двигайся вперёд, любя, побеждай. Когда человеку открыта карма с его ближними, час *его* действий настал. И если он не подобрал указанное ему кольцо кармы, то возможность подобрать это кольцо передвигается — оно отходит, как облако. И снова надо ждать, пока твёрдость верности человека, его любовь и беспрекословное послушание Учителю не возрастут и не пододвинутся вновь обстоятельства для новой вековой встречи.

Имеющий уши — услышит зов. И озарение поможет ему выполнить указанную задачу. У тех, кто имеет мало любви и верности, закрыты очи и уши. Лишь до конца верящий — побеждает.

Не видны человеку законы целесообразности встреч. Но лишь по этому закону — закону великой необходимости — идёт жизнь каждого.

В слепоте идут до тех пор, пока образ *Единого* в сердце не засветится. Но чтобы Он засиял, надо уметь пройти в полной верности и преданности Учителю своему, ибо путь смирения проходит каждый только в своё мгновение Вечности.

Человеку же в слепоте его не видно *то* мгновение пути праведника. Он видит иное, которое *судит* и принимает к сердцу, стараясь следовать ему своим подражанием. В подражании же нет творчества. Сердце человека не живёт, и потому *не сходит* к нему озарение, потому же человек и отрицает его в невежестве своём.

Оставь все мечты, неофит. *Действуй, ежеминутно действуй, творя доброту.* И если бесстрашно сердце твоё — раскроются очи духа твоего, и ты увидишь и услышишь».

Книга захлопнулась, ещё раз повеяло на меня теплом и светом — и всё исчезло, я перестал видеть не только свой аналой, но даже и ряды всех тех, мимо которых я проходил до сих пор. Поражённый этим, я повернулся к Иллофиллиону.

— Иди дальше, друг. Я не могу тебе ни в чём здесь помочь. Я уже сказал тебе: здесь каждый сам отыскивает всё то, что ему дано понять.

Я двинулся вперёд; случайно мой взгляд упал на белый пол, и мне показалось, что ряд цветочков, мелких, оранжевых, как дорожка, стелется передо мной. Я пошёл по ней, так забавно и радостно было видеть, как цветочки, точно в сказке, выскакивали, указывая мне дорогу. Я всё шёл за ними, благословляя их, и не мог удержать радостного смеха, который так и рвался из моего сердца.

Неожиданно для меня цветочки свернули в сторону, и я увидел в отдалении, у самой стены, светившийся высокий аналой оранжевого цвета. Я ускорил шаг, ощутил тепло, шедшее ко мне от аналая, и, подойдя ближе, различил на нём большую книгу в переплёте из парчи, украшенной топазами. Красота переплёта привлекла моё внимание, но не сразу я понял, что украшения из камней и золота составляют надпись. Я разобрал язык пали и прочёл:

Луч мой тебя приветствует.

Просящему — даётся. Ищущий — находит.

Мудрость не достигается теми, кто живёт в личном.

Только раскрепощённый может видеть ясно.

Я благоговейно поцеловал переплёт и хотел открыть книгу, как она сама развернулась, и я прочёл:

«Вступай в луч пятый. Здесь научись видеть ясно, читать без помощи телесных очей и слышать легко и просто без помощи временных форм. Читай в каждой временной форме её Вечное. Неси благословение дню и помогай пером — что дано тебе — развернуться сознанию встречного».

Иллофиллион подошёл ко мне, стал рядом со мною, поднял руку и поддерживал свою ладонь над листом книги, несколько ниже того места, где я читал. Я смотрел на лист книги, над которым была его ладонь, и заметил, что под нею складывается яркая фраза:

«Луч пятый — луч науки и техники, луч приспособления в каждом развитем сознании всех его духовных даров для непосредственного служения человечеству».

Иди моим лучом и вноси всё своё понимание, интуитивное и сокровенное, через Любовь к тебе приходящее, в простой труд обычного дня.

Научись претворять любовь созерцающую в мелкие дела твоего трудового дня. И только та любовь, которая будет воплощена в делах каждого обычного дня, станет *живою Любовью, движением Единого*.

Забвения нет во Вселенной ни для одного человека, ни для одного его дела. Ибо все живущие и творящие — только разные пути и способы проявления *Единой Жизни*, выражающейся в конкретных формах.

Чтобы дойти до живой Истины, скрытой в своём сердце, надо развить в себе любовь к человеку. Любя человека, чти его; видя в нём *цель* дел Учителя, ты дойдёшь до единения с Учителем, а слившись с Единым в Учителе, сольёшься и с Вечностью.

Иллофиллион».

Буквы выходили из-под ладони Иллофиллиона, оставаясь на листе книги, пока он её держал, и погасли все сразу, когда он отвёл свою руку. Тогда Иллофиллион закрыл книгу, поклонился мне и сказал:

— Сегодня ты вошёл во вторую ступень ученичества. Ты видишь, как легко и незаметно минует эти ступени один человек и как трудно проходит их другой. В моём луче, в ежедневном труде со мною ты научишься овладеть теми психическими силами, которые до сих пор доводили тебя до болезни. Взгляни на брата Никито. Быть может, теперь ты вспомнишь больше, чем в первые минуты встречи с ним у озера.

Я повернулся к Никито, взглянул в его добрые глаза и вдруг сразу увидел яркую картину детства, как я еду на коне на руках у Никито, закрытый его буркой от дождя и ветра. Потом я увидел его и себя в какой-то комнате, заставленной ящиками с книгами... и в тот же момент я бросился на шею моему другу.

— Дорогой дядя, «неговорящий»! — воскликнул я. — Так я звал вас в детстве, не разлучаясь с вами, когда вы приезжали, и плача, когда вы уезжали. О, я не забыл ничего! Брат Николай говорил мне, что вы спасли мне жизнь, когда я умирал. Вы привезли мне лекарство.

— Я был только гонцом Али, приславшим тебе лекарство, мой друг. Называй меня на «ты» с этой минуты. Те, кто имел счастье стоять рядом в этой комнате, не могут общаться по правилам условной вежливости. Дружба наша — общий путь труда, где преданность не имеет границ. Я тебе слуга, и друг, и помощник во всём, в чём бы ты ни позвал меня участвовать.

— Я не знаю, Никито, как выразить словами всю благодарность тебе. Я могу только сказать, что в моём сердце нет предела для благоговейного чувства признательности за всю ласку, которую я получил от тебя. Нет больше провала в моей памяти, я снова стою перед тобой тем беспомощным ребёнком, о котором ты так много заботился и которого оберегал.

— Быть может, ты теперь узнаешь и меня, — взяв меня за руку, сказал Зейхед-оглы.

Как только он коснулся меня, я увидел ряд домов на бедной улице и стоящего у двери одного из них мальчика лет восьми. Навстречу ему по улице бежал карлик, дрожащий, в лохмотьях — он явно искал спасения от преследователей. Каким-то образом я понял, вернее, почувствовал, что мальчик этот — я сам, и тут же полностью перенёсся в прошлое. Я уже различал топот ног многих бегущих людей и понял, что карлик погибнет, если я его не спасу. Я схватил его за руку и втащил за собой в дверь дома, у которого стоял. Не успел я захлопнуть дверь дома, как топот ног бегущих преследователей пронёсся мимо него.

Я увидел сени, увидел, как осторожно веду своего спутника вверх по лестнице, сажаю его, дрожащего, в угол маленькой комнаты и закрываю его целым рядом колясок, лошадок и других игрушек...

— Теперь ты увидел одно из мгновений нашей прошлой жизни и знаешь, чем я тебе обязан. Прими же мою помощь как возврат моего долга.

Иллофиллион соединил наши руки, обнял нас всех троих и сказал:

— Пойдёмте все вместе трудиться для братьев. В беспрекословном повиновении Учителям и непоколебимой верности и радости да соединит нас Любовь!

Мы вышли из зала, спустились вниз и прошли в комнату, которой я раньше не заметил. Здесь я снял то одеяние, которое на меня надели Никито и Зейхед, и переоделся в обычную свою одежду, в какой ходили все в Общине. Мои друзья и Иллофиллион также переоделись, и мы вышли из дома.

Внизу нас ждал слуга, который передал Иллофиллиону письмо, сказав, что за островком нас ждёт человек, принёсший это послание.

Когда мы встретились с подателем письма, Иллофиллион, ещё не вскрывая конверта, сказал человеку:

— Хорошо, передай Аннинову, что мы будем не сегодня, а завтра.

Повернувшись ко мне, улыбаясь, он сказал мне:

— Вот видишь, Лёвушка, как хорошо всё складывается. У Аннинова мигрень, он просит отложить музыку до завтра. Ведь ты всё равно не мог бы слушать её сегодня?

— Не мог бы и даже забыл бы о ней. Если бы играл или пел Ананда, это было бы счастьем, — и я перенёсся воспоминаниями в Константинополь, вновь переживая человеческий голос виолончели Ананды.

Состояние моё было необычайным. Я шёл, видел людей, деревья, облака, солнце, слышал щебетание птиц, но всё казалось мне нереальным, я как-то не мог уместиться весь во внешних формах жизни. Я всё ещё где-то летал и почти ничего не слышал из того, что говорили мои спутники. Какие-то

слова долетали до моих ушей, но они проходили мимо моего внимания. Более или менее я пришёл в себя уже тогда, когда мы спустились с возвышенности вниз и, перейдя дорогу, вошли в бамбуковую рощу.

— Приди в себя, Лёвушка, — сказал мне ведущий меня под руку Иллофиллион. — Сейчас ты войдёшь в парк и встретишь очень соскучившегося без тебя Бронского. В этот счастливейший для тебя день нельзя оставить друга без помощи. Светлое счастье, посетившее тебя сегодня, пусть будет счастьем и радостью и ему. То, чего ты не видел в человеке вчера, ты увидишь в нём сегодня. Отдай ему часть той Любви, которая была дана тебе сегодня так щедро. Важнее всего не личный твой путь во Вселенной, а *ты как путь Света*, путь труда и встреч с твоими Учителями. Перелей в страдающую душу Бронского часть своего мира и гармонии. Затем тебя ждут Франциск и карлики. Мы пойдём в больницу все вместе, возьми с собой и Бронского.

От слов Иллофиллиона лёгкое облачко сожаления как бы промелькнуло на миг в моей душе. Мне было слишком трудно переключиться с неба на землю. Но я тут же понял, как печальна была бы моя жизнь, если бы рядом со мною не шли люди, дающие мне помощь, в которой не было ни предела, ни отказа.

Точно какой-то руль мгновенно перевернулся во мне, и я ощутил счастье жить на земле, радуясь, что могу быть полезным помощником кому-то.

— Я готов, дорогой Иллофиллион. — Но всё же я остановился на минуту, прежде чем выйти из бамбуковых зарослей. — Я очень счастлив встретить Бронского в такой великий для меня день и передать ему первому всю чистоту моего духа и моего нового знания в эту минуту. Да будет благословенна наша встреча, да начну я её и закончу в радости, милосердии и доброты. — И я постарался собрать всё своё внимание и сосредоточиться на мысли о моём дорогом друге, печальном и страдающем.

ГЛАВА 5

МОЁ СЧАСТЬЕ НОВОГО ЗНАНИЯ И ТРИ ВСТРЕЧИ В НЁМ

Мы сделали ещё несколько шагов вперёд и вышли на дорожку. Я сразу же издали увидел высокую фигуру Бронского, медленно шедшего навстречу мне. Его голова была опущена вниз, и чем ближе я подвигался к нему, тем яснее видел, какая печаль отражалась на всей фигуре моего друга.

Жалость сжала моё переполненное любовью и счастьем сердце. Я почувствовал такой прилив любви к этому человеку, какого ещё не испытывал ни разу ни к одному чужому человеку.

Я понёсся к нему навстречу, раскрыл широко руки и заключил не ожидавшего встречи со мной Бронского в объятия. Только сейчас я невольно заметил, как я вырос физически. Я уже не был тем маленьким щупленьким Лёвушкой, каким бежал с Флорентийцем из К. Обняв Бронского, человека высокого роста, я почувствовал свои плечи наравне с его плечами, и глаза мои приходились почти вровень с его глазами.

Мысль моя как-то скользнула, я немного удивился, когда это я успел так вырасти и возмужать, и радостно смеялся испугу Бронского, попавшего неожиданно-негаданно в мои объятия.

— Лёвушка, милый друг, — говорил он своим очаровательным голосом, — с какого неба вы свалились? Я так счастлив, что встретил вас сию минуту. Бог мой! Да ведь вы и на самом деле имеете вид свалившегося с неба! Вы сияете, точно вас святым духом пронизало!

— О да, мой дорогой Станислав, — ответил я, счастливо смеясь, и в первый раз назвал моего друга без отчества, чего раньше никогда не делал, несмотря на все его просьбы об этом. Но сегодня мой язык сам мог выражать только ту любовь, которой горело всё моё существо. И я назвал его так, как говорило моё сердце. — Я действительно сейчас упал с неба. И ещё мину-

ту назад я не понимал, какое великое счастье — перенести небо на землю и передать встретившемуся человеку всю его красоту, впитанную собственным сердцем. Я люблю вас, Станислав, в эту минуту той братской любовью, которая уже не нуждается в словах и объяснениях, чтобы не только разделить скорби друга, но и понести их вместе по трудной жизненной дороге.

— Лёвушка, Лёвушка, с вами, несомненно, случилось что-то необычайное, — прижимая к груди обе мои руки и глядя на меня своими прекрасными печальными глазами, тихо говорил Бронский. — Но *что* бы с вами ни случилось, как бы вы ни были сильны своим счастьем в эту минуту, воздержитесь обещать разделить мои страдания. Я, собственно, уже несколько дней решаю трудный для себя вопрос: имею ли я право подходить к вам близко, так близко, как мне этого хочется. Вся моя жизнь пронизана скорбью именно оттого, что где бы я ни появился, кого бы я ни полюбил, с кем бы ни подружился, — всем всегда и неизменно я приношу в конце концов горе и скорбь.

Сколько раз в моей жизни я захватывал своим искусством многих людей. Они добивались знакомства со мной, гордились нашей близкой дружбой — и всегда финал бывал один и тот же: их постигало горе и я оставался им утешителем. Приносил ли я им на самом деле утешение, не знаю. Но дата их встречи со мною всегда, решительно всегда, бывала преддверием горя. Моё одиночество — это следствие моих наблюдений над моими связями с людьми. Я стал бояться каких бы то ни было сближений с людьми. Я, как вечный жид, стал странствовать по всему миру, нигде не создавая себе счастливых оазисов личных чувств, какого бы то ни было характера. Я погрузился только в искусство и отдал ему всю жизнь без остатка. Но люди и при этой моей манере жить не оставляют меня в покое. Они — хочу я этого или не хочу — подходят ко мне через то же искусство, которое я им несусь. Любовь к искусству — единственное, для чего я жил и живу и чем служил всегда моему Богу и общему благу, — заставляет людей сближаться со мной, а меня принуждает принимать их как учеников и сотрудников. И неизменно картина всюду была и есть всё та же: если я нёс людям восторг и откровение в искусстве, то так же непременно я приносил горе в их личную жизнь. Это до того стало меня подавлять, что я решил покончить свои счёты с жизнью, уйти с земли в Вечность, в которую я свято верю. Я уже собрался было выполнить моё решение, но внезапно встретился с тем великим человеком, письмо которого я привёз вашему не менее великому, как мне кажется, и обаятельному другу, Иллофиллиону.

Если бы не эта чудесная встреча, я бы никогда не встретил и вас, Лёвушка. Теплом веет на меня от вас. Молодость ваша, ваш исключительный талант, живая фантазия, умение проникнуть до самого дна душевных пере-

живаний артиста, интерес и дружба, которые вы выказываете мне, — всё тянет меня к вам. И сейчас я шёл и решал всё тот же вопрос: не принесу ли я и вам тоже горе? Быть может, мне надо отойти от вас, чтобы громы небесные не потрясли вашей юной жизни?

— Дорогой Станислав, — весело засмеялся я, — уверяю вас, что громы небесные не ждали момента моей встречи с вами. Они и так уже поразили меня, как только было возможно. У меня много возражений вам. Во-первых, *где* мы с вами сейчас? Здесь не та открытая сцена жизни, где всё полно условных пониманий и предрассудков. Здесь для нас с вами, как и для всех сюда пришедших, — святая святых, доступная каждому из нас так, как мы сами способны в неё войти. Здесь живут вне предрассудков, вне условного быта и его требований. Здесь каждый делает свой «день» освобождённым настолько, насколько он сам совладал со своими страстями. Во-вторых, вы судите о тех внешних впечатлениях, которые вы вносили людям в их жизнь. Но те страдания, вестником которых вы являлись для них, не были только страданиями; они служили им лестницей для внутреннего совершенствования их духа. Если вы перестанете судить свою жизнь и жизнь ваших встречных однобоко, учитывая только один земной план, а свяжете сознание и своё, и всех встречных ещё и с планом живого, труящегося неба, вы будете и сами жить в Вечном и оценивать события и факты жизни других сразу в *двух* планах, рассматривая их как нечто единое, которое разделить невозможно. Рассматривая так ваши встречи, вы увидите в себе величайшую Мудрость, потому что вы пробуждаете в людях их возможность вступить в тот вечно движущийся поток, который и есть Вечное Движение.

Сегодня я ощутил всем своим существом эту связь человека земли с любовью и заботами труящегося неба. Я понял, что не только в идеях и высоких словах я должен искать возможностей передать земле труд великих братьев живого неба. Не в теориях и обетах должна выражаться любовь моя к родине. Но я должен во всём благородстве проникать в дух встречного человека. И любовь к брату-человеку — это не фантазии и не мечты, не созерцательная форма молитв и мантр, а *действенная* форма *труда* в самом простом дне. Иллофиллион говорил мне всё это, говорил, что нет серых будней, а есть то, что *мы сами* в них творим, но я понимал это всё головой, восхищался, пленялся, но... любовь моя молчала. Она всегда казалась пленительным маяком, пока была «любовью к дальним». Но стоило мне соприкоснуться с ближними, как любовь моя выливалась в раздражение. Сегодня, Станислав, всё моё существо трепетало в огне Любви, которую изливали мне Старшие Милосердные Братья, не спрашивая меня, что я им дам взамен, но окружая меня куполом своей любви и защиты, чтобы я мог разделить их труд в моей чистоте. Я чувствую в себе *их* силу, точно мощный огонь. И раз-

говаривая сейчас с вами, я счастлив, потому что чувствую, как передаю вам эту движущуюся силу их огня. То, что так заставляет вас страдать при вашей любви к людям — ваш дар приводить людей в полосу страданий в то время, как вам хотелось бы нести каждому только радость, — не должен вас мучить. Перестаньте думать о себе, забудьте, что вы входите вестником временного горя. Горе в виде отсутствия бытового благополучия — это иллюзия. Вам следует помнить только о том, что вы — сотрудник живого неба и вводите людей в очищающую струю скорбей. Люди просыпаются к внутренней жизни и получают возможность сбрасывать с себя нарастающие корки эгоизма, чтобы вступить на путь Света. Вот всё, что я могу вам сказать. Конечно, Иллофиллион скажет вам много больше и введёт вас в новый круг понимания и труда. Моя же встреча с вами — благословенный миг. Вам первому я удостоился счастья и чести подать мой перл чистой радости, мою дивную жемчужину Любви, которую мне подарили мои великие друзья.

Я обнял ещё раз Бронского и нежно гладил его прекрасные руки, которыми он закрыл лицо и по которым сейчас текли слёзы. Мы стояли в этой позе, когда на плечо каждому из нас легла чья-то рука, и я увидел обнимавшего нас обоих Франциска.

— Я вас искал, мои дорогие друзья.

Бог мой! Ничего не было особенного в этих простых словах. Но лицо Франциска, его глаза, звук его голоса — всё было таким потоком ласки и любви, что я понял, почему его называли святым среди народа, и его простые слова проникали мне в сердце, как слова великого мудреца: «Придите ко мне, и я утешу вас».

При звуке голоса Франциска Бронский опустил руки, взглянул на него и, очевидно, впервые понял, как и я, что такое Любовь в человеке. Он опустился на колени, принял к Франциску, взял обе его руки в свои и зарыдал.

Все моё сердце перевернулось от этих рыданий. Я тоже опустился на колени рядом с ним, обнял его, также принял к Франциску и молил живое небо, моих друзей Флорентийца и Али разделить тяжесть трудных страданий Бронского, помочь ему перейти в иную ступень понимания его земной жизни и труда в ней.

Рыдания Бронского говорили о невыносимой тяжести сердца, о пытке, которую он нёс. Руки Франциска гладили его по голове, он наклонился над Бронским и тихо, нежно улыбался ему. Я перестал видеть в стоявшей перед нами фигуре Франциска. Я видел сейчас одну Любовь, которая светилась вокруг его головы и всей его человеческой формы и разрасталась в светлое облако, окружая его кольцом.

— Мой дорогой брат, — всё тем же голосом продолжал Франциск, — твои слёзы сегодня — Рубикон твоей жизни. Ты был освободителем для тво-

их встречных, разрывая их духовные оковы своим гением искусства. Ты скорбел и страдал, видя, как рушилось их мимолётное счастье. Теперь ты будешь понимать, что условное счастье, сгоравшее от огня спички, сменится в них Светом несгорающего Огня. Ты будешь теперь для них силой возрождения и утешения. Ты поймёшь, что великий путь ученичества равно велик перед Вечностью, несёшь ли ты в своей чаше розовые жемчужины радости или чёрные жемчужины скорби. Чаша радостного только кажется легче. На самом же деле людям одинаково трудно нести в достоинстве, равновесии и чести и радости и скорби.

Встаньте, братья мои, чтобы я мог каждому из вас отдать поклон Любви, как привет его новой жизни.

Франциск поднял нас с колен, и я снова поразился физической силе этих нежных рук и его болезненной внешности. Франциск обнял Бронского, приблизил его вплотную к себе и что-то говорил ему на ухо, чего я не разбирал. Как преобразились лицо и фигура артиста, когда Франциск выпустил его из своих объятий! Лицо его засияло, фигура выпрямилась, стала мощной, глаза засверкали силой, весь он показался мне воплощением творческой энергии. Ни одной морщинки не было на его молодом сейчас лице, а ведь в момент нашей встречи оно всё было изборождено суровыми складками.

Франциск обратился ко мне и сказал:

— Лёвушка, твой брат Николай шлёт тебе привет. Он дарит тебе свою записную книжку, которую ты так свято берегал для него до сих пор и куда ты с редкой честностью ни разу не заглянул, охраняя тайны брата. Ныне содержание записной книжки брата для тебя не тайна, и ты всё поймёшь, что там сказано. Прими и мой дар любви и радости. Возьми это скромное колечко и надень его на шейку твоего павлина. Вот тебе и цепочка.

Как я был рад подарку Франциска! Не только я, но и мой павлин, мой вековой враг, получал сегодня привет любви. Все слова благодарности не могли бы выразить силы радости, которая меня переполнила. Я бросился на шею Франциску, смеясь и плача одновременно и утопая в его беспредельной доброте.

— Лёвушка, ты задушишь Франциска, — услышал я за собой голос Иллофиллиона.

Я и не заметил, как и когда потерял из виду Иллофиллиона и моих дорогих поручителей, помчавшись навстречу Бронскому. И теперь я даже не задумался, как и откуда они появились возле нас, — всё происходившее сегодня казалось мне простым, ясным, лёгким.

Иллофиллион повёл нас в дальнюю часть сада, где я увидел оранжевую беседку, выполненную в очаровательном архитектурном стиле, которой